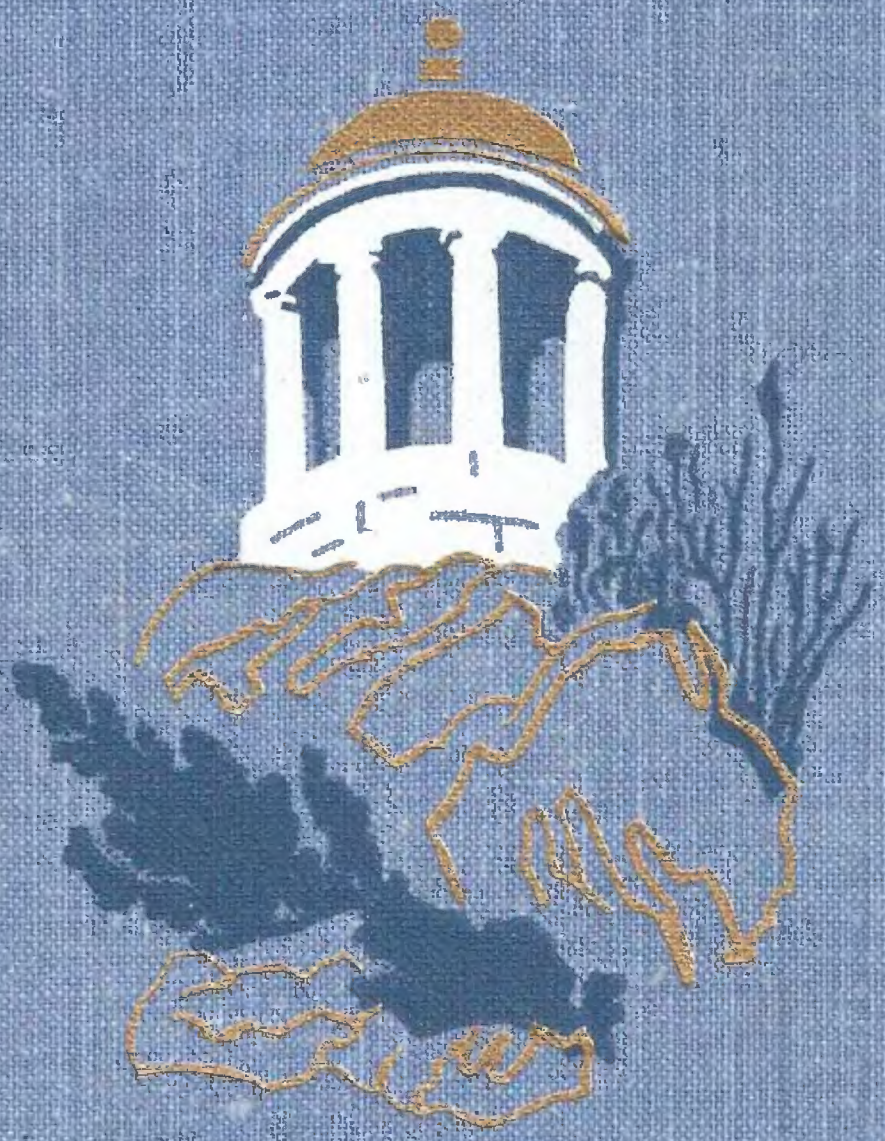
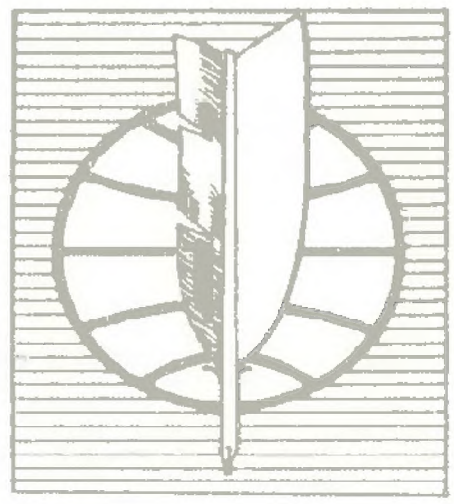
БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



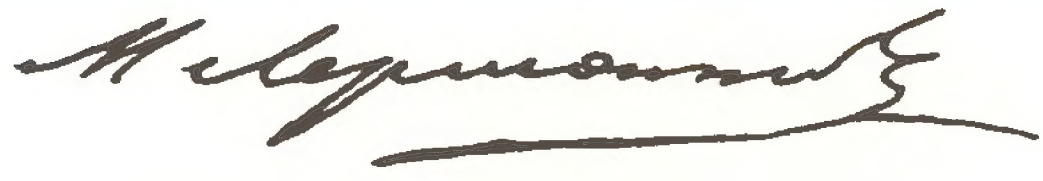
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Scan Kreyder - 14.06.2015
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Избранные сочинения

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1977

Р1
Л49

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

Текст печатается по изданию:
М. Ю. Лермонтов,
Собрание сочинений в четырех томах,
«Художественная литература», М., 1975.

Составление, предисловие и примечания
И. Л. АНДРОНИКОВА

Оформление
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Л $\frac{70803—408}{М101(03)77}$ Подп. изд.

Состав. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.

ОБРАЗ ПОЭТА

1

Когда, по окончании юнкерской школы, Лермонтов вышел корнетом в лейб-гвардейский Гусарский полк и впервые надел офицерский мундир, бабка поэта заказала художнику Будкину его парадный портрет.

С полотна пристально смотрит на нас спокойный, благообразный гвардеец с правильными чертами лица: удлиненный овал, высокий лоб, строгие карие глаза, прямой, правильной формы нос, щегольские усики над пухлым ртом. В руке — шляпа с плюмажем. «Можем... засвидетельствовать,— писал об этом портрете родственник поэта М. Лонгинов,— что он (хотя несколько польщенный, как обыкновенно бывает) очень похож и один может дать истинное понятие о лице Лермонтова». Но как согласовать это изображение с другими портретами, на которых Лермонтов представлен с неправильными чертами, узеньким подбородком, с коротким, даже чуть вздернутым носом?

Всматриваясь в изображения Лермонтова, мы понимаем, что художники старательно пытались передать выражение глаз. И чувствуем, что взгляд не уловлен. При этом — портреты все разные. Если пушкинские как бы дополняют друг друга, то лермонтовские один другому противоречат. Правда, Пушкина писали великолепные портретисты — Кипренский, Тропинин, Соколов, Пушкина лепил Витали.

Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь знаменитым — Заболотскому, Клюндеру, Горбунову, способным, однако, передать характерные черты, а тем более сходство. Но, несмотря на все их старания, они не сумели схватить *жизни* лица, оказались бессильны в передаче *духовного* облика Лермонтова, ибо в этих изображениях нет главного — нет поэта! И пожа-

луй, наиболее убедительны из бесспорных портретов Лермонтова беглый рисунок Д. Палена — Лермонтов в профиль, в смятой фуражке — и акварельный автопортрет: Лермонтов на фоне Кавказских гор, в бурке, с кинжалом на поясе, с огромными печально-взволнованными глазами.

Два этих портрета представляются нам похожими более других потому, что они внутренне чем-то сходны между собой и при этом гармонируют с поэзией Лермонтова.

Дело, видимо, не в портретистах, а в неуловимых чертах поэта. Они ускользали не только от кисти художников, но и от описаний мемуаристов. И если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу же обнаружим, что люди, знавшие его лично, в представлении о его внешности совершенно расходятся между собой (я выделяю курсивом эти несоответствия). Одних поражали *большие глаза* поэта, другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно *быстрыми маленькими глазами*. Глаза маленькие и быстрые? Нет! Ивану Сергеевичу Тургеневу они кажутся *большими* и *неподвижными:* «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших *неподвижно-темных* глаз». Но один из юных почитателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражен: «То были скорее *длинные щели*, а не глаза,— пишет он,— и щели, полные злости и ума».

На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела вся внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким подбородком, желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики, коротко остриженные волосы. И — сардоническая улыбка... А один из приятелей Лермонтова пишет о *милом* выражении лица. Один говорит: «широкий, но *не высокий* лоб», другой: «необыкновенно *высокий* лоб». И снова: «*большие глаза*». И опять возражение: нет, «глаза *небольшие*, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные». И решительно все стремятся передать непостижимую силу взгляда: «огненные глаза», «черные как уголь», «с двумя углями вместо глаз».

По одним воспоминаниям, глаза Лермонтова «сверкали мрачным огнем», другой мемуарист запомнил его «с пламенными, но грустными по выражению глазами», смотревшими на него «приветливо, с душевной теплотой».

Последние строки взяты из воспоминаний художника П. Е. Меликова, который особое внимание уделил в своем описании взгляду Лермонтова: «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом,— пишет Меликов,— он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих

нор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз)».

Однако на этот счет сам Карл Брюллов держался иного мнения. «Я как художник,— сказал он однажды, вспомнив лермонтовские стихи,— всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел».

Впрочем, и сам Лермонтов смеялся над собою, говоря, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*.

Не только внешность, но и характер его современники изображают между собой так несхоже, что временами кажется, словно речь идет о двух Лермонтовых. Одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и веселостью. Одному вся фигура поэта внушает безотчетное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид»,— читаем в записках светской красавицы. «Скучен и угрюм»,— вторит другая. «Высокомерен», «едок», «заносчив» — это из отзывов лиц, принадлежавших к великосветскому обществу. А человек из другого круга — кавказский офицер А. Есаков, бывший еще безусым в пору, когда познакомился с Лермонтовым,— вспоминает: «Он школьничал со мной до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

И совсем другой Лермонтов в изображении *поэта* — переводчика Лермонтова на немецкий язык: «В его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение». И снова портрет, открывающий новые грани характера,— воспоминания князя А. Лобанова-Ростовского, с которым Лермонтов встречался в Петербурге, в компании своих сверстников: «С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки».

Очевидно, Лермонтова можно было представить себе только в динамике — в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мысли, в постоянной игре лица. А кроме того, он, ко-

нечно, и держался по-разному — в петербургских салонах, где подчеркивал свою внутреннюю свободу, независимость, презрение к светской толпе, и в компании дружеской, среди людей простых и достойных. «Когда бывал задумчив,— пишет узнавший его на войне артиллерийский поручик Мамацев,— что случалось нередко, лицо его делалось необыкновенно выразительным, серьезно-грустным; но как только являлся в компании своих гвардейских товарищей, он предавался тому же банальному разгулу, как все другие; в это время делался более разговорчив, остер и насмешлив, и часто доставалось от его острот дюжинным его товарищам».

Лермонтов терпеть не мог рисоваться и, как пишет один из его современников, имевший случай беседовать с людьми, хорошо его знавшими, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними полон женской деликатности и юношеской горячности. «Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более, чем драгоценность». Эти строки взяты из журнальной статьи писателя А. В. Дружинина, высоко ценившего поэзию Лермонтова.

Побывав на Кавказе, когда там еще была свежа память о нем, Дружинин близко узнал одного из друзей и сослуживцев поэта — Руфина Дорохова. Тот много рассказывал о Лермонтове. И, кроме беглых впечатлений, изложенных на страницах журнала, Дружинин написал в 1860 году на основе этих рассказов большую статью о поэзии Лермонтова, о его характере и судьбе.

В свое время эта статья осталась ненапечатанной и обнаружена только столетие спустя. Она хотя и опубликована, но еще мало кому известна[1]. А между тем мы находим в ней разъяснение многих черт личности Лермонтова и загадок его судьбы. Статья эта проливает некоторый свет на непостижимый творческий подвиг Лермонтова, за четыре с небольшим года после гибели Пушкина создавшего величайшие творения романтической поэзии — «Демона», «Мцыри», эпическую «Песню про царя Ивана Васильевича...», полную тонкой иронии по отношению к себе и к романтическому направлению в литературе поэму, названную им «Сказкою для детей», и гениальный роман, знаменовавший начало русской психологической прозы; сборник стихов, означивший целый период в истории русской лирики, и другой поэтический сборник, которого в печати увидеть Лермонтову не довелось. Не только гениальный поэтический дар, но и великая устрем-

---

[1] «Литературное наследство», т. 67. М., 1959, с. 630—643 (публикация Э. Г. Герштейн).

ленность, могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему наполнить творчеством каждый миг его краткой жизни.

Дорохова, человека безудержной отваги и пылкого темперамента, удивляла в Лермонтове эта сила характера. «По натуре своей *предназначенный властвовать над людьми*»,— начинает и вычеркивает Дружинин, стремясь наиболее точно передать впечатления Дорохова. «По натуре своей горделивый, сосредоточенный и сверх того, кроме гения, *отличавшийся силой характера*,— продолжает он начатую характеристику,— наш поэт был честолюбив и (горд) скрытен». И снова — *о железном характере* Лермонтова, который впервые проявился в дни опалы за стихи на смерть Пушкина: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды *людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество*».

С какой ясностью свидетельствуют эти, подчеркнутые мною, строки о том, что Лермонтов, более чем кто-либо другой при его жизни, исключая разве Белинского, понимал собственное значение и роль, каковую ему было предназначено сыграть в русской литературе и — больше того — в жизни русского общества! Впервые с такой очевидностью мы узнаём из этой статьи, что на Кавказе, среди людей непривилегированных у Лермонтова были истинные друзья, что он был знаменит не только в литературных салонах и среди широкого круга своих почитателей в обеих столицах, но и на «всем Кавказе».

«Большая часть из современников Лермонтова,— продолжает Дружинин,— даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам,— но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу».

При этом статья Дружинина раскрывает черты личности Лермонтова, о которых прежде мы могли только догадываться и которые объясняют нам его сложный и внешне противоречивый характер.

Со слов Дорохова автор ее говорит о сохранившейся с детства привычке Лермонтова к *сосредоточенной мечтательности* и о другой особенности, старательно им скрывавшейся. «Лермонтов долго был нескладным мальчиком,— пишет Дружинин,— и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, *не мог отделаться от застенчивости*, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов».

Мир искусства, замечает Дружинин, был для него святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному.

«Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы», — говорится в этой статье, удивительной по обилию тонких и верных мыслей о поэзии Лермонтова и живых впечатлений, полученных от друга и очевидца, разделявшего с поэтом опасности в кровопролитных боях и лишения в долгих походах.

Чем усерднее вчитываемся мы в дошедшие до нас строки воспоминаний, тем более убеждаемся, что Лермонтов действительно был разным и непохожим — среди беспощадного к нему света и в кругу задушевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке. Это можно сказать про каждого, но у Лермонтова грани характера были очерчены особенно резко, и мало кто возбуждал по себе столько разноречивых толков.

Одни воспоминания о нем надобно читать, понимая слова буквально, другие — угадывая в описаниях, казалось бы объективных, бессильную злобу и стремление дискредитировать если не поэзию, то хотя бы поэта — человека иного образа мыслей и нравственных представлений, разрушавшего общепринятую условность и весь этикет лицемерного великосветского общества и поставившего себе целью говорить одну только беспощадную правду.

Такие мемуары приходится читать, угадывая под личиной беспристрастных свидетелей непримиримых врагов.

Н. П. Раевский, офицер, встречавший Лермонтова в кругу пятигорской молодежи летом 1841 года, рассказывал: «Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было, с какой стороны подойти... Пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков».

«Он был вообще не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах». Это — прямо противоположное — утверждение принадлежит князю Васильчикову, секунданту на последней — роковой — дуэли с Мартыновым.

И сколько ни будете читать воспоминаний о Лермонтове, более, чем о поэте, они будут говорить вам об отношении к нему мемуаристов. Кому из них верить?!

2

Впрочем, есть книги, которые содержат самый достоверный лермонтовский портрет, самую глубокую и самую верную лермонтовскую характеристику. Это — его сочинения, в которых он отразился весь, каким был в действительности и каким хотел быть!

Читая лирические стихи и бурные романтические поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во всей мировой литературе — «Героя нашего времени», мы невольно вспоминаем, что сказал Пушкин о Байроне: «Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии».

Как всякий настоящий, а тем более великий поэт, Лермонтов исповедался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека.

Страницы его юношеских тетрадей напоминают стихотворный дневник, полный размышлений о жизни и смерти, о вечности, о добре и о зле, о смысле бытия, о любви, о будущем и о прошлом:

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны...

Историю протекших веков и все лучшее, накопленное русской и европейской культурой,— поэзию, прозу, драматическую литературу, музыку, живопись, труды исторические и философские,— Лермонтов усваивал систематически, начиная с первого дня пребывания в пансионе при Московском университете и затем в годы студенчества.

Приятелям запомнилась его любимая поза: облокотившись на одну руку, Лермонтов читает принесенную из дома книгу, и ничто не может ему помешать — ни разговоры, ни шум.

Он владеет французским, немецким, английским, читает по-латыни, впоследствии, на Кавказе, примется изучать «татарский», то есть азербайджанский язык, в Грузии будет записывать слова грузинские и одной из своих поэм даст грузинское заглавие «Мцыри».

Он помнит тысячи строк из произведений поэтов великих и малых, иностранных и русских, но из обширного круга чтения двух авторов нужно выделить — Байрона и — особенно — Пушкина.

Еще ребенком Лермонтов постигал законы поэзии, переписывая в альбом их поэмы.

Перед Пушкиным он благоговел всю свою жизнь. И больше

всего любил «Евгения Онегина». Об этом он сам говорил Белинскому.

Он не просто читал — каждая книга была для него ступенью к самостоятельному пониманию назначения поэзии, каждая воспринималась критически. «Я читаю «Новую Элоизу»,— записывает семнадцатилетний Лермонтов впечатление от знаменитого романа Жан-Жака Руссо.— Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины... Вертер лучше; там человек — более человек»,— дописывает он, отдавая предпочтение роману Гете.

Воображение уносит его на Кавказ, где он побывал в детстве, и в страны, где он никогда не бывал,— в Литву, Финляндию, Испанию, Италию, Шотландию, Грецию, в будущее и в прошлое, и даже в мировое пространство, где летает печальный Демон:

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал...

Его мысль в непрестанном горении.

Недаром Белинский сразу же отметил у Лермонтова «резко ощутительное присутствие мысли», и не одни пластические изображения, заключающие в себе мысли поэта, но самая мысль, обретшая художественную форму, составляет силу множества его лучших вещей — «Не верь себе», «Сказки для детей», «Демона», «Думы»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Природа наделила его страстями. Трех лет он плакал на коленях у матери от песни, которую она певала ему. И в память о рано угасшей матери и о песне он написал потом своего «Ангела»:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

Он полюбил впервые в десятилетнем возрасте, на Кавказе. Вспоминая через пять лет златокудрую девочку и Кавказские горы, он записал в тетрадку свою: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Он утверждал это на основании своего опыта.

Он был одарен удивительной музыкальностью — играл на скрипке, на фортепьяно, на флейте, пел, сочинял музыку на собственные стихи. В последний год жизни он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню». Были даже и ноты, но пропали и до нас не дошли. Однако, если бы мы даже не знали об этом, мы догадались бы о его музыкальности, читая его стихи и прозу его.

Не много было в мире поэтов, умевших передавать тончайшие душевные состояния, пластические образы и живой разговор посредством стиха и прозаической фразы, звучание которых составляет неизъяснимую прелесть, заключенную в музыкальности каждого слова и в самой поэтической интонации. Не много рождалось поэтов, которые бы так «слышали» мир и видели бы его так — динамично, объемно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с натуры, но и на память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней.

Если бы он профессионально занимался живописью, он мог бы стать настоящим художником.

Изображая в «Герое нашего времени» ночной Пятигорск, он сперва описывает то, что замечает в темноте глаз, а затем слышит ухо: «Город спал, только в некоторых окнах *мелькали огни*. С трех сторон *чернели гребни утесов*, отрасли Машука, на вершине которого *лежало зловещее облачко; месяц поднимался* на востоке; вдали серебряной бахромой *сверкали снеговые горы. Оклики* часовых перемежались с *шумом* горячих ключей, спущенных на ночь. Порою *звучный топот коня* раздавался по улице, сопровождаемый *скрыпом нагайской арбы* и *заунывным татарским припевом*».

Эти описания Лермонтова так пластичны, что понятным становится, почему современники называли его русским Гете: в изображении природы великий немецкий поэт считался непревзойденным.

«На воздушном океане», строки, не уступающие пантеистической лирике Гете, Лермонтов написал в двадцать четыре года.

При всем том он умел одухотворять, оживлять природу: утес, тучи, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями — им ведомы радости встреч, горечь разлук, и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть.

«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче»,— вписал шестнадцатилетний Лермонтов в одну из своих тетрадок.

Суровая жизнь с малых лет расстраивала ему эту «музыку сердца».

После того как из университетских аудиторий он перешел в Петербург, в кавалерийскую школу, его старший и верный друг Мария Лопухина писала ему из Москвы: «Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель. Остерегайтесь сходиться слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь».

Добрый характер, любящее сердце, способность увлекаться— вот каким он был и каким навсегда остался в отношениях с друзьями. Он не изменял им, не забывал их. И, обращаясь к умершему декабристу — поэту Александру Одоевскому, с которым встретился на Кавказе, писал:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!

И, посвящая «Демона» женщине, которая не дождалась его, он обращался к ней с горьким упреком:

Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Другом его был и тот, кто помог ему распространить стихи на смерть Пушкина, и та, что одною из первых угадала в нем великий талант.

И кавказский кинжал — символ вольности— он считал своим другом, и сражающийся Кавказ, ибо он олицетворял в представлении Лермонтова отвагу, честь, благородство, любовь к родине, стремление к свободе.

Лермонтов не умел и не хотел скрывать свои мысли, маскировать чувства. Уроки Марии Лопухиной впрок не пошли. Он оставался доверчивым и неосторожным. И больше, чем открытая злоба врагов, его ранила ядовитая клевета друзей, в которых он ошибался.

И чувство одиночества, разобщенности в царстве произвола и мглы, как назвал николаевскую империю Герцен, было для него неизбежным и сообщало его поэзии характер трагический.

Каждый день, каждый час его жизни омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей.

Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, которого ему запрещено было видеть; мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, и политические преследования, и жизнь изгнанника в последние годы жизни... Все это свершалось словно затем, чтобы усилить в его поэзии трагический элемент.

И при всем том он не стал мрачным отрицателем жизни. Он любил ее страстно, вдохновленный мыслью о родине, мечтой о свободе, стремлением к действию, к подвигу.

И все, что им создано за тринадцать лет творчества,— это подвиг во имя свободы и родины. И заключается он не только в прославлении бородинской победы, в строках «Люблю отчизну я...» или в стихотворном рассказе «Мцыри», но и в тех сочинениях, где не говорится прямо ни о родине, ни о свободе, но — о судьбе поколения, о назначении поэта, об одиноком узнике, о бессмысленном кровопролитии, об изгнании, о пустоте жизни...

С юных лет светское общество, с которым Лермонтов был связан рождением и воспитанием, олицетворяло в его глазах все лживое, бесчувственное, жестокое, лицемерное. И заглавие трагедии «Маскарад» заключает в себе смысл иронический, ибо лицо у этих людей было маской, а в маскараде, неузнанные, они выступали в обнажении низменных страстей и пороков. И Лермонтов имел смелость высказать все, что думал о них, без пощады и лицемерия.

В день гибели Пушкина он впервые заявил о себе. И первое, что он сказал им:

Свободы, Гения и Славы палачи!

Он грозил им народной расправой и указывал на их связь с императорским троном.

«К несчастью слишком большой проницательности,— писал о нем Герцен,— он прибавил другое — смелость многое высказывать без прикрас и без пощады. Существа слабые, оскорбленные никогда не прощают такой искренности».

И на последних вдохновениях Лермонтова уже лежит печать обреченности.

Но неуклонно следовал он по избранному пути. И ненависть к «стране господ», отрицание купленной кровью славы только обостряли его любовь к «печальным деревням» и к «холодному молчанию» русских степей.

Десять лет писал он стихи, поэмы, драмы, прозу, прежде чем решился стать литератором.

Еще три года понадобилось, чтобы из лучшего, что он создал, составить небольшой сборник.

Взыскательность, строгость его по отношению к себе удивительны.

Только две поэмы и два с половиной десятка стихотворений отобрал он из сотен стихов и трех десятков поэм. Зато никто еще не выступал в первый раз с таким сборником. К этим стихам можно отнести собственные его строки:

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Все совместилось в этой маленькой книжке — старинный сказ «Песни про царя Ивана Васильевича...» и простая речь бородинского ветерана, тихая молитва о безмятежном счастье любимой женщины, которая принадлежит другому, и горечь разлуки с родиной; холодное отчаяние, продиктовавшее строки «И скучно и грустно», и нежный разговор с ребенком; беспощадная ирония в обращении к богу и ласка матери, напевающей песню над младенческой колыбелью; трагическая озабоченность «Думы» и страстный разговор Терека с Каспием; горестная память о погибшем изгнаннике и гневная угроза великосветской черни; сокрушительная страсть Мцыри — призыв к борьбе, к избавлению от рабской неволи и сладостная песня влюбленной рыбки; пустыни Востока, скалы Кавказа, желтеющие нивы России, призрачный корабль, несущий по волнам океана французского императора, слезы заточенного и страстный спор о направлении поэзии — все было в этом первом и последнем сборнике, который вышел при жизни поэта.

Вот такой и был Лермонтов, только натура и личность его были еще богаче, потому что в эту книжку не вошли ни «Демон», ни «Маскарад», ни «Герой нашего времени», ни стихотворения последнего года, в которых он поднимается еще выше, потому что «Валерик», «Завещанье», «Любовь мертвеца», «Спор», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...» раскрывают новые стороны этой великой души. А между этими стихами мелькают острые эпиграммы и любезные, или добрые, или колкие стихотворные шутки...

Эти контрасты, эти смены душевных состояний в сочетании с верностью Лермонтова излюбленным идеям и образам сообщают его поэзии удивительное своеобразие, выражение неповторимое.

И любимым поэтическим средством являются в ней антитезы — столкновение противоположных понятий: «день первый» — «день последний», «позор» — «торжество», «паденье» — «побе-

да», «свиданье» — «разлука», «демоны» — «ангелы», «небо» — «ад», «блаженство» — «страданье»...

И другой, излюбленный, поэтический прием — анафора, настойчивое повторение в начале строки одного и того же слова:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных.
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей...

Как много говорит самый стих о личности его творца, о его характере, о его страсти! Но...

Тут могут сказать, что это не изобретение Лермонтова, что еще за четырнадцать лет до завершающей редакции «Демона» Пушкин в «Подражаниях Корану» писал:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Скажут о сходстве. И будут правы. И тем не менее ассоциация рождается редко: Лермонтов сообщил стиху иную экспрессию.

Клятва, торжественно-возвышенная у Пушкина, у Лермонтова совсем не торжественна, а исполнена такой завораживаю-

щей, такой неотразимой и бурной страсти, что чем больше вчитываешься в пушкинские и в лермонтовские строки, тем менее находишь в них сходства, хотя сходство, разумеется, есть.

Лермонтов никогда не боялся этих сближений. В стихах его постоянно мелькают строки — то Пушкина, то иного полюбившегося ему поэта.

Григорий в «Борисе Годунове», пробуждаясь и глядя на пишущего Пимена, говорит:

Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно...

Последняя строка отозвалась потом в «Думе» Лермонтова:

Добру и злу внимая равнодушно,
В начале поприща мы вянем без борьбы...

Так постоянно продолжает он стих, мысль, тему, уже существующие, но продолжает по-своему. Разве замысел его «Пророка» не связан с «Пророком» Пушкина? Разве Максим Максимыч не сродни капитану Миронову — отцу «капитанской дочки»? А в «Бэле» не трактует ли он сюжет пушкинского «Кавказского пленника» — поэмы, где нас покоряет такая же самоотверженная любовь черкешенки к европейцу с охладелой душой?! Вспоминал Лермонтов сюжет «Евгения Онегина», когда сочинял «Княжну Мери», или безотчетно было это сближение, это глубоко скрытое, почти неуловимое сходство, но без «Онегина» не было бы «Героя...». Это известно давно.

Величайшее дарование, продолжая мысль, высказанную другим, выражать мысль новую, неисчерпаемо глубокую, полную поэтической силы, покоряющую поколение за поколением,— вот еще одно великое свойство личности Лермонтова и созданий его — гениального поэта, прозаика, драматурга!

В юности, сочиняя романтические поэмы и драмы, он рисовал в своем воображении свободных и гордых героев, людей пылкого сердца, могучей воли, верных клятве, гибнущих за волю, за родину, за идею, за верность самим себе. В окружающей жизни их не было.

Но Лермонтов сообщал им собственные черты, наделял своими мыслями, своим характером, своей волей. Таковы Фернандо, Юрий Волин, Владимир Арбенин в юношеских трагедиях, Измаил-бей, Арсений... И Демон мыслит и клянется, как Лермонтов. Таков и герой «Маскарада» — Евгений Арбенин.

В мире, где нет ни чести, ни любви, ни дружбы, ни мыслей, ни страстей, где царят зло и обман,— ум и сильный характер уже

отличают человека от светской толпы. И даже если над ним тяготеет преступное прошлое, как над Арбениным, он все равно возвышается над толпой и толпа не смеет судить его. «Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет,— писал Белинский, обращаясь к критикам лермонтовского Печорина,— в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа...»

Таков Арбенин, таков Печорин. Но, в отличие от прежних своих творений, Лермонтов, создавая «Героя нашего времени», уже не воображал жизнь, а рисовал такою, какой она являлась в действительности.

И он нашел новые художественные средства, каких еще не знала ни русская, ни западная литература и которые восхищают нас по сей день соединением свободного и широкого изображения лиц и характеров с умением показывать их объективно, «выстраивая» их, раскрывая одного героя сквозь восприятие другого. Так, автор путевых записок, в котором мы без труда угадываем черты самого Лермонтова, сообщает нам историю Бэлы со слов Максима Максимыча, а тот, в свою очередь, передает монологи Печорина.

И, скажем, снять «Бэлу» в кино невозможно, не изменив при этом ее структуру и смысл.

Печорина никак не сыграешь, ибо в «Бэле» перед нами не сам Печорин, а Печорин в представлении Максима Максимыча, человека совсем другого круга и другого образа мыслей. И если не будет Максима Максимыча, Печорин станет похож на героев Марлинского.

А в «Журнале Печорина» мы видим героя опять в новом ракурсе — такого, каким он был наедине сам с собой, каким мог предстать в своем дневнике, но никогда бы не открылся на людях.

Лишь один раз мы видим Печорина, как его видит автор. И через всю жизнь проносим в душе и в сознании гениальные эти страницы—повесть «Максим Максимыч», одно из самых гуманных созданий во всей мировой литературе. Она поражает нас, эта повесть, как поражает личное горе, как оскорбление, нанесенное нам самим. И вызывает глубокое сочувствие и бесконечную нежность по отношению к обманутому штабс-капитану. И в то же время — негодование по адресу блистательного Печорина.

Но вот мы читаем «Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталиста» и наконец постигаем характер Печорина в его неизбежной раздвоенности. И, узнавая причины этой «болезни», вникаем в

«историю души человеческой» и задумываемся над судьбою «героя» и над характером «времени».

При этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, емкость, блеск описаний, сравнений, метафор, фразы, доведенные до краткости и остроты афоризмов,— то, что прежде называлось «слогом» писателя и составляет неповторимые черты его личности, его стиля и вкуса,— доведено в «Герое нашего времени» до высочайшей степени совершенства.

Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность «перевоплощаться» — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом.

Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

Ираклий Андроников

Стихотворения

1837

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

БОРОДИНО

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, симво́л святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

УЗНИК

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

СОСЕД

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь — а после тайной.

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает,—

Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь —
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,

И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.

* * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

МОЛИТВА

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

* * *

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

* * *

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы.

Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! — душа дрожит!
Что, если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

1838

КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

* * *

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую.
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

* * *

Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах;
Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

* * *

Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет,
И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет
И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услыхал твой голос нежный
И встретил милый взор.

* * *

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...

Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

1839

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

A. Barbier [1]

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.

---

[1] Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горланящих шарлатанов, торговцев пафосом, мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? — *О. Барбье (франц.).*

В нем признака небес напрасно не ищи:
    То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
    Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
    Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
    Простых и сладких звуков полный,—
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
    Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
    Не передашь ты их значенья.

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
    Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой,—
Не выходи тогда на шумный пир людей
    С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
    То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
    На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
    На что́ нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
    Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
    Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
    Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
    Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
    Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
    С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
    Махающий мечом картонным...

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

И ныне все дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

ДАРЫ ТЕРЕКА

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов им, на славу,
Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною косой».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит;
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.
Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красотке молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного,
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный,—
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

ПАМЯТИ А. И. ОДОЕВСКОГО

1

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

2

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей, и жизнь иную.

3

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

4

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно... Дела твои, и мненья,
И думы — все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...

5

И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...
Что за нужда?.. Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

6

И мрачных гор зубчатые хребты...
И вкруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

* * *

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

1840

* * *

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки,—
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться,— памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

И СКУЧНО И ГРУСТНО

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

ИЗ ГЁТЕ

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

(Из Зейдлица)

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;

На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

СОСЕДКА

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко́ над землей,
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг.

«ТРИ ПАЛЬМЫ».

Художник В. Д. ПОЛЕНОВ.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок.

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она, долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — отворится клетка,
И, как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Les poètes ressemblent aux ours, qui se nourrissent en suçant leur patte.

Inédit [1]

Комната писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель, с сигарой, стоит спиной к камину. Журналист входит.

Журналист

Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.

---

[1] Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу.— *Неизданное (франц.).*

Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнанье, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!
Порой влюбляется он страстно
В свою нарядную печаль...
Ну, что́ вы пишете? нельзя ль
Узнать?

Писатель

Да ничего...

Журналист

Напрасно!

Писатель

О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали, с тайною мольбою,
К N. N., неведомой красе,—
И страшно надоели все.

Читатель

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,

Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? — перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим...
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Журналист

Я точно то же говорю.
Как вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

Читатель

Читал я. Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету!..
В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Журналист

И с этим надо согласиться.
Но верьте мне, душевно рад
Я был бы вовсе не браниться —
Да как же быть?.. меня бранят!
Войдите в наше положенье!
Читает нас и низший круг:
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;

Приличье, вкус — все так условно;
А деньги все ведь платят ровно!
Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги.
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги,—
И все зачем? — чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать!..

Читатель

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен всевышним богом.

Журналист

Все это так, да вот беда:
Не пишут эти господа.

Писатель

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти странные творенья
Читает дома он один,

И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.
Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко без сознанья
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно-черных
И ложно-радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать...
Скажите ж мне, о чем писать?..

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.

ПЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

РЕБЕНКУ

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне... К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней,— скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя? — звук пустой!
Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

А. О. СМИРНОВОЙ

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

К ПОРТРЕТУ

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло,
В душе ее темно, как в море!

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

<ВАЛЕРИК>

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.

Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию,— но вас
Забыть мне было невозможно.

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;

Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга.
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам;
И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету воловиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу — дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова все вокруг
Затихло... Но жара уж спа́ла,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? — что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
«Савельич!» — «Ой ли!» — «Дай огниво!»
Подъем ударил барабан —
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке — два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?

Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй, вы, станичники, за ним...
Что? ранен!..— Ничего, безделка...
И завязалась перестрелка...

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.

Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Недолго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешные полки
Народ испытанный... «В штыки,
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
«Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,

Но все слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой; я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «*Валерик*,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми».
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» — «Тысяч до семи».
«А много горцы потеряли?»
«Как знать? — зачем вы не считали!»
«Да! будет,— кто-то тут сказал,—
Им в память этот день кровавый!»

Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так?
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

ЗАВЕЩАНИЕ

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря

И что родному краю
Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив.
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!

1841

ОПРАВДАНИЕ

Когда одни воспоминанья
О заблужденьях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь,

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя,—

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,

Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Без страха в час последней муки
Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки,—
Разлуки нет!
Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой!
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Душа моя в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна!
Ты с мертвецом святыней слова
Обручена!
Увы! твой страх, твои моленья,
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне.

* * *

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

<ИЗ АЛЬБОМА С. Н. КАРАМЗИНОЙ>

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...

<ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ>

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурею страстей,

Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.

ДОГОВОР

Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.

Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.

Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.

Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.

В толпе друг друга мы узнали,
Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.

* * *

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

СПОР

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою [1]
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат,—

[1] Шат — Элбрус. *(Прим. Лермонтова.)*

Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!»
«Не боюся я Востока! —
Отвечал Казбек,—
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя...
Нет! не дряхлому Востоку
Покорить меня!»

«Не хвались еще заране! —
Молвил старый Шат,—
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.

И, томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.

Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку [1] на́ брови надвинул —
И навек затих.

СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

---

[1] Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. *(Прим. Лермонтова.)*

* * *

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn.

Heine [1]

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

ТАМАРА

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.

---

[1] Они любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому.— *Гейне (нем.).*

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчу́г убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

СВИДАНЬЕ

1

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым.
Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

2

Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежею чинарою
Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
«Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?
И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои».

3

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
Как сторожи, стоят;
И поступью несмелою
Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
Четы грузинских жен;
Вот улицей пустынною
Бредут, едва скользя...
Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

4

Твой домик с крышей гладкою
Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою
Купается в реке;

Среди прохлады, веющей
Над синею *Курой*,
Он сетью зеленеющей
Опутан плющевой;
За тополью высокою
Я вижу там окно...
Но свечкой одинокою
Не светится оно!

5

Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор:
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковер;
Я жду с тоской бесплодною,
Мне грустно, тяжело...
Вот сыростью холодною
С востока понесло,
Краснеют за туманами
Седых вершин зубцы,
Выходят с караванами
Из города купцы...

6

Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!
Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
Татарин молодой.
Недаром он красуется
Перед твоим окном
И твой отец любуется
Персидским жеребцом.

7

Возьму винтовку длинную,
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.

До полдня за могильною
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится...
А! это ты, злодей!

ЛИСТОК

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара,—
Ты пылен и желт,— и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

* * *

1

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

3

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

В море царевич купает коня;
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет и дале плывет.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелко́вой узды.

Вышла младая потом голова,
В косу вплелася морская трава.

Синие очи любовью горят;
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл; товарищей громко зовет:

«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...

Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит;

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрек...

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

«ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА,
МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА
И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА».

Художник В. М. ВАСНЕЦОВ.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

1828—1836

1828

ПОЭТ

Когда Рафáэль вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал,—
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Все тише, и призрáк бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

ЖАЛОБЫ ТУРКА

(Письмо. К другу, иностранцу)

Ты знал ли дикий край, под знойными лучами,
Где рощи и луга поблекшие цветут?
Где хитрость и беспечность злобе дань несут?
Где сердце жителей волнуемо страстями?
И где являются порой
Умы и хладные и твердые, как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! этот край... моя отчизна!

P. S.

Ах, если ты меня поймешь,
Прости свободные намеки;
Пусть истину скрывает ложь:
Что ж делать? — Все мы человеки!..

МОНОЛОГ

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

1830

ВЕСНА

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля,—
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

КАВКАЗУ

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее.

К***

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны,— нет,
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки,—
О, если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой.
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!

30 ИЮЛЯ.—(ПАРИЖ) 1830 ГОДА

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. Ты полагал
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.

И загорелся страшный бой;
И знамя вольности, как дух,
Идет пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан,

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроются гроба
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы
И их подымет судия...
Не встанут у тебя власы?
Не задрожит рука твоя?..

Глупец! что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой?
Предмет насмешек ада, тень,
Призрак, обманутый судьбой!
Бессмертной раною убит,
Ты обернешь молящий взгляд,
И строй кровавый закричит:
Он виноват! он виноват!

НОВГОРОД

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До ваших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит.

ПИР АСМОДЕЯ

(Сатира)

У беса праздник. Скачет представляться
Чертей и душ усопших мелкий сброд,
Кухмейстеры за кушаньем трудятся,
Прозябнувши, придворный в зале ждет.
И вот за стол все по чинам садятся,
И вот лакей картофель подает,
Затем что самодержец Мефистофель
Был родом немец и любил картофель.

По правую сидел приезжий <Павел>,
По левую начальник докторов,
Великий Фауст, муж отличных правил
(Распространять сужденья дураков
Он средство нам превечное доставил).
Сидят. Вдруг настежь дверь и звук шагов;
Три демона, войдя с большим поклоном,
Кладут свои подарки перед троном.

1-й демон

(говорит)

Вот сердце женщины: она искала
От неба даже скрыть свои дела
И многим это сердце обещала
И никому его не отдала.
Она себе беды лишь не желала,
Лишь злобе до конца верна была.
Не откажись от скромного даянья,
Хоть эта вещь не стоила названья.

«C'est trop commun! [1] — воскликнул бес державный
С презрительной улыбкою своей.—
Подарок твой подарок был бы славный,
Но новизна царица наших дней;
И мало ли случалося недавно,
И как не быть приятных мне вестей;
Я думаю, слыхали даже стены
Про эти бесконечные измены».

2-й демон

На стол твой я принес вино свободы;
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опились народы
И начали в куски короны бить;
Но как помочь? кто против общей моды?
И нам ли разрушенье усыпить?
Прими ж напиток сей, земли властитель,
Единственный мой царь и повелитель.

Тут все цари невольно взбеленились,
С тарелками вскочили с мест своих,
Бояся, чтобы черти не напились,
Чтоб и отсюда не прогнали их.
Придворные в молчании косились,
Смекнув, что лучше прочь в подобный миг;
Но главный бес с геройскою ухваткой
На землю выплеснул напиток сладкой.

---

[1] Это слишком банально! *(франц.)*

3-й демон

В Москву болезнь холеру притащили,
Врачи вступились за нее тотчас,
Они морили, и они лечили
И больше уморили во сто раз.
Один из них, которому служили
Мы некогда, вовремя вспомнил нас,
И он кого-то хлору пить заставил
И к прадедам здорового отправил.

Сказал и подает стакан фатальный
Властителю поспешною рукой.
«Так вот сосуд любезный и печальный,
Драгой залог науки докторской.
Благодарю. Хотя с полночи дальной,
Но мне милее всех подарок твой».
Так молвил Асмодей и все смеялся,
Покуда пир вечерний продолжался.

НА КАРТИНУ РЕМБРАНДТА

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон.
Я вижу лик полуоткрытый
Означен резкою чертой;
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступленьем
Высокий ум его убит;
Все темно вкруг: тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы,
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?
Но никогда великой тайны
Холодный не проникнет взор,
И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор.

К***

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни:
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

1831

1831-го ЯНВАРЯ

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют, и я пою за ними
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад,—

Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

1831-го ИЮНЯ 11 ДНЯ

1

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями. Но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен.

2

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

3

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь.

4

Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву все принесть,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и, живой,
Я смерти отдал все, что дар земной.

5

Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?

6

К погибшим люди справедливы; сын
Боготворит, что проклинал отец.
Чтоб в этом убедиться, до седин
Дожить не нужно. Есть всему конец;
Немного долголетней человек
Цветка; в сравненье с вечностью их век
Равно ничтожен. Пережить одна
Душа лишь колыбель свою должна.

7

Так и ее созданья. Иногда,
На берегу реки, один, забыт,
Я наблюдал, как быстрая вода,
Синея, гнется в волны, как шипит
Над ними пена белой полосой;
И я глядел, и мыслию иной
Я не был занят, и пустынный шум
Рассеивал толпу глубоких дум.

8

Тут я был счастлив... О, когда б я мог
Забыть, что незабвенно! женский взор!
Причину стольких слез, безумств, тревог!
Другой владеет ею с давных пор,
И я другую с нежностью люблю,
Хочу любить,— и небеса молю
О новых муках; но в груди моей
Все жив печальный призрак прежних дней.

9

Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе.
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей все равно.

10

Темна проходит туча в небесах,
И в ней таится пламень роковой;
Он, вырываясь, обращает в прах
Все, что ни встретит. С дивной быстротой
Блеснет, и снова в облаке укрыт;
И кто его источник объяснит,
И кто заглянет в недра облаков?
Зачем? они исчезнут без следов.

11

Грядущее тревожит грудь мою.
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я,— порок,
И вижу, я слабей любить не мог.

12

Не верят в мире многие любви
И тем счастливы; для иных она
Желанье, порожденное в крови,
Расстройство мозга иль виденье сна.
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! — любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.

13

И отучить не мог меня обман;
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней;
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.

14

И о судьбе ее чужой пришлец
Жалеет. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконец
Увянет преждевременно она;
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.

15

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты бог или злодей...

16

Как нравились всегда пустыни мне.
Люблю я ветер меж нагих холмов,
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун
Под синевой, и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей.

17

И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синеет пред глазами; каждый звук
Гармонии вселенной, каждый час
Страданья или радости для нас
Становится понятен, и себе
Отчет мы можем дать в своей судьбе.

18

Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом всё горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят,
И странные верхи в лучах горят.

19

И сердце полно, полно прежних лет,
И сильно бьется; пылкая мечта
Приводит в жизнь минувшего скелет,
И в нем почти все та же красота.
Так любим мы глядеть на свой портрет,
Хоть с нами в нем уж сходства больше нет,
Хоть на холсте хранится блеск очей,
Погаснувших от время и страстей.

20

Что на земле прекрасней пирамид
Природы, этих гордых снежных гор?
Не переменит их надменный вид
Ничто: ни слава царств, ни их позор;
О ребра их дробятся темных туч
Толпы, и молний обвивает луч
Вершины скал; ничто не вредно им.
Кто близ небес, тот не сражен земным.

21

Печален степи вид, где без препон,
Волнуя лишь серебряный ковыль,
Скитается летучий аквилон
И пред собой свободно гонит пыль;
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречает взгляд березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой.

22

Так жизнь скучна, когда боренья нет.
В минувшее проникнув, различить
В ней мало дел мы можем, в цвете лет
Она души не будет веселить.
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что́ значит отдыхать.

23

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

24

Есть время — леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

25

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.

26

Никто не получал, чего хотел
И что любил, и если даже тот,
Кому счастливый небом дан удел,
В уме своем минувшее пройдет,
Увидит он, что мог счастливей быть,
Когда бы не умела отравить
Судьба его надежды. Но волна
Ко брегу возвратиться не сильна.

27

Когда, гонима бурей роковой,
Шипит и мчится с пеною своей,
Она все помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей,
И, может быть, она опять придет
В другой залив, но там уж не найдет
Себе покоя: кто в морях блуждал,
Тот не заснет в тени прибрежных скал.

28

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.

29

Все. Нет, не все: созданье есть одно,
Способное любить — хоть не меня;
До этих пор не верит мне оно,
Однако сердце, полное огня,
Не увлечется мненьем, и мое
Пророчество припомнит ум ее,
И взор, теперь веселый и живой,
Напрасной отуманится слезой.

30

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,
Невольным сожаленьем, и молвой,
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда

31

И скажет: отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. И печаль
Его встревожит, он посмотрит вдаль,
Увидит облака с лазурью волн,
И белый парус, и бегущий челн,

32

И мой курган! — любимые мечты
Мои подобны этим. Сладость есть
Во всем, что не сбылось,— есть красоты
В таких картинах; только перенесть
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена,
Когда свободна, как игра детей,
Как арфы звук в молчании ночей!

РОМАНС К И...

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны
Мою жестокую кручину,
Мои обманчивые сны
И люди с злобой ядовитой
Осудят жизнь мою порой,—
Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой?

О, будь!.. о! вспомни нашу младость,
Злословья жертву пощади,
Клянися в том! чтоб вовсе радость
Не умерла в моей груди,
Чтоб я сказал в земле изгнанья:
Есть сердце, лучших дней залог,
Где почтены мои страданья,
Где мир их очернить не мог.

К Н. И.....

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить:
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;

Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!

АНГЕЛ

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

1832

К*

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.

Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд! — прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил,—
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

* * *

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

ДВА ВЕЛИКАНА

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,—
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы,— он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

РУСАЛКА

1

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

2

И шумя и крутясь, колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

3

И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок златые гуляют стада;
Там хрустальные есть города;

4

И там на подушке из ярких песков
Под тенью густых тростников
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чужой стороны.

5

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело и в уста мы в полуденный час
Целовали красавца не раз.

6

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит — и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне!..»

7

Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И, шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

УМИРАЮЩИЙ ГЛАДИАТОР

I see before me the gladiator lie...

Byron [1]

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзенный в грудь,— безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор:
Надменный временщик и льстец его сенатор
Венчают похвалой победу и позор...
Что́ знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт... освистанный актер.

И кровь его течет — последние мгновенья
Мелькают,— близок час... Вот луч воображенья
Сверкнул в его душе... Пред ним шумит Дунай...
И родина цветет... свободный жизни край;
Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущего к себе опору дряхлых дней...
Детей играющих — возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой...
Напрасно — жалкий раб,— он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой...
Прости, развратный Рим,— прости, о край родной...

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:

---

[1] Я вижу перед собой лежащего гладиатора... *Байрон (англ.)*

Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

<ЭПИГРАММА НА Н. КУКОЛЬНИКА>

В Большом театре я сидел,
Давали Скопина: я слушал и смотрел.
Когда же занавес при плесках опустился,
Тогда сказал знакомый мне один:
«Что, братец! жаль! — вот умер и Скопин!..
Ну, право, лучше б не родился».

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА>

Россию продает Фадей
Не в первый раз, как вам известно,
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да жаль, заложена в казну.

<К ПОРТРЕТУ СТАРОГО ГУСАРА>

Смотрите, как летит, отвагою пылая...
Порой обманчива бывает седина;
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.

<К Н. И. БУХАРОВУ>

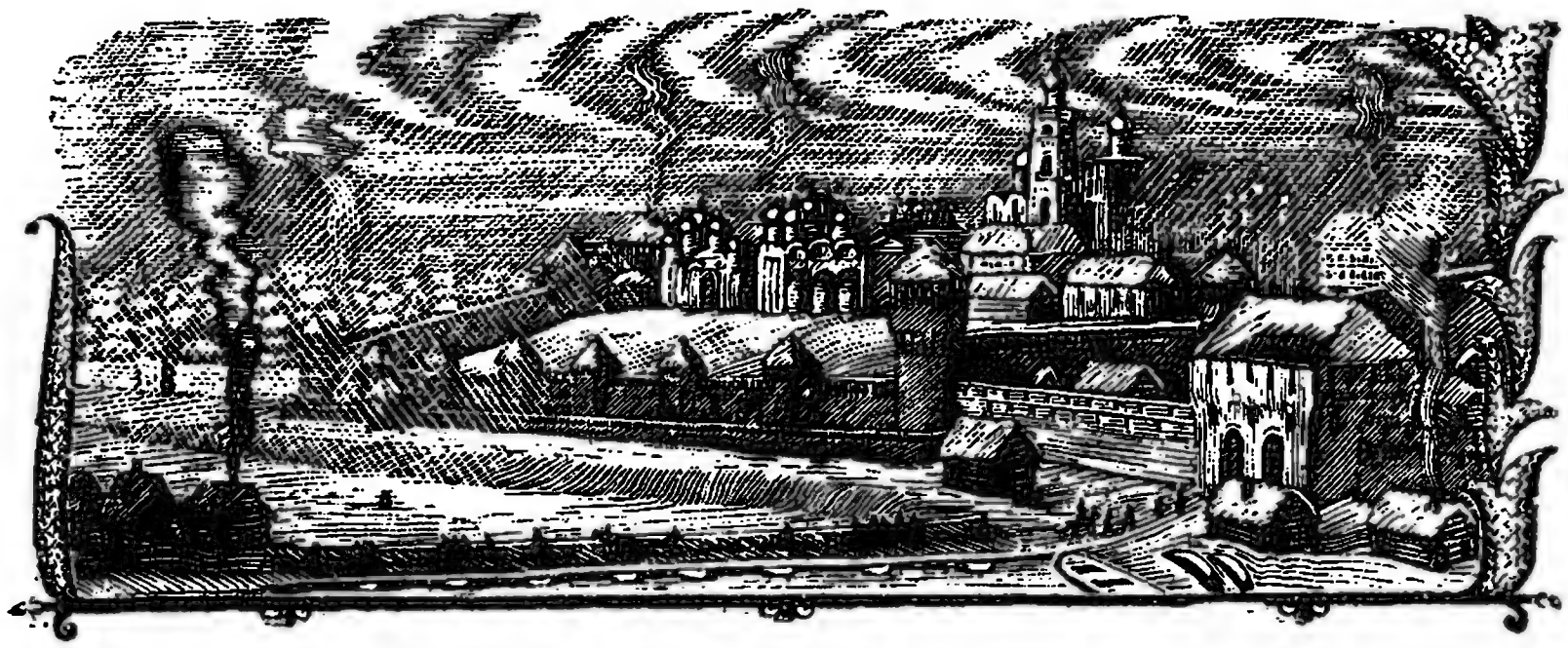
Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой
Твой крик приятней соловья,
Нам мил и ус твой серебристый,
И трубка плоская твоя.

Нам дорога твоя отвага,
Огнем душа твоя полна,
Как вновь раскупренная влага
В бутылке старого вина.
Столетья прошлого обломок,
Меж нас остался ты один,
Гусар прославленных потомок,
Пиров и битвы гражданин.

<Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ>

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

Поэмы



ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам.
— И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого,—
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднéбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...

Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду-поеду на лихом коне
За Москву-реку покататися,
Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю набочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную,—
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому...

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо,—
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.

И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася
В такой поздний час Алена Дмитревна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»

«Господин ты мой Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать,—
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками все боярскими!..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..

Как запру я тебя на железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинёшенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня цаловать-ласкать
И, цалуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

И ласкал он меня, цаловал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную,—
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести.
А меньшой мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитревна,
Горючьми слезами заливалася.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;

А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежéй силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднéбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались?
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.

Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,—
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся,—
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова.
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,—
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;

И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал за́мертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о́ землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привесть его пред лицо свое.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.

Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,—
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обниемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать;
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дооог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

1837

БЕГЛЕЦ

(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахну́ло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой!..

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он никем не зримый...
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе мучимый недугом,—
Один,— он молча умирал...
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы бились в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь, преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду...
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело;
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит...
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины...
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!» «Один?» «Один!»
«А где отец и братья?» «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
«Ты отомстил?» «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...»
«Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И все кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка

Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

ДЕМОН

Восточная повесть

ЧАСТЬ I

I

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!

Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел,— и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух

Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.

С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой [1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна́ [2], и льются ви́ны —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он со́звал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

---

[1] Покрывало. *(Прим. Лермонтова.)*
[2] Вроде волынки. *(Прим. Лермонтова.)*

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул...

IX

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..

И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забыть? — забвенья не дал бог:
Да он и не́ взял бы забвенья!..
. . . . . .

X

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи [1],— кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами. *(Прим. Лермонтова.)*

Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

XI

И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но пре́зрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких стременах [1],
Надвинув на́ брови папах [2],
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

---

[1] Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла. *(Прим. Лермонтова.)*

[2] Шапка, вроде ермянки. *(Прим. Лермонтова.)*

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не прйдут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами.
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет...

XIII

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.

Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны,

И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелко́вые ресницы
Сны золотые навевать...»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный.
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!..

ЧАСТЬ II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.

На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет...
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему;*
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...

. . . . . .
. . . . . .

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!

И вот средь общего молчанья
Чингура[1] стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

[1] Чингар — род гитары. *(Прим. Лермонтова.)*

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно,—
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . . . .

X

Тамара

О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Демон

Ты прекрасна!

Тамара

Но молви, кто ты? отвечай...

«ДЕМОН».

Художник М. А. ВРУБЕЛЬ.

Демон

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь,— я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю,—
Я раб твой,— я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!

Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...

Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!

Демон

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;

Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,

Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

Тамара

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон

Против тебя ли?

Тамара

Нас могут слышать!..

Демон

Мы одне.

Тамара

А бог!

Демон

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!

Тамара

А наказанье, муки ада?

Демон

Так что ж? Ты будешь там со мной!

Тамара

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи,— ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духóв,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом.
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;

Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духóв моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,

Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.

И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наваждение духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

. . . . . .

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!

И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,

Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там;
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится...
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?

Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца,—
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...

Как призрак памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Когда во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.

И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

1838—1841

МЦЫРИ[1]

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.
1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,

---

[1] Мцыри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «по́слушника». *(Прим. Лермонтова.)*

Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик,
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он зна́ком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного при́зрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,

Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен,—
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,

Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил,— я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачко́м,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... и как сон
Всё это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;

И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг — голос — легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен

Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,— когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише,— но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,— мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;

Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц,— и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз

Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И всё зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..

Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...

22

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...

23

И было всё на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;

Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Так было сладко, любо мне...
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне,
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.

*

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

*

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

*

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

Так я найдён и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...

«ДЕМОН».

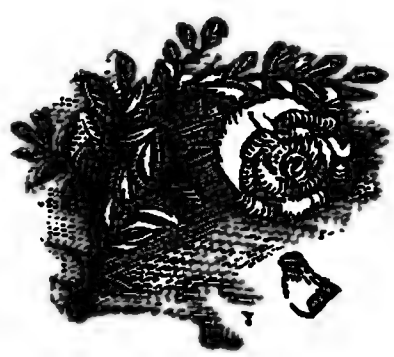
Художник М. А. ВРУБЕЛЬ.

Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

1839



ИЗМАИЛ-БЕЙ

Восточная повесть

Опять явилось вдохновенье
Душе безжизненной моей
И превращает в песнопенье
Тоску, развалину страстей.
Так, посреди чужих степей,
Подруг внимательных не зная,
Прекрасный путник, птичка рая
Сидит на дереве сухом,
Блестя лазоревым крылом;
Пускай ревет, бушует вьюга...
Она поет лишь об одном,
Она поет о солнце юга!..

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

So moved on earth Circassia's daughter
The loveliest bird of Franguestan!

«The Giaour». *Byron* [1]

1

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.

---

[1] Так шествовала по земле дочь Черкесии,
Прелестнейшая птица Франгистана.
«Гяур». *Байрон (англ.).*

И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья,— и луна
По синим сводам странствует одна.

2

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает, как цветы небес и рая...
В вечерний час дождливых облаков
Я наблюдал разодранный покров;
Лиловые, с багряными краями,
Одни еще грозят, и над скалами
Волшебный замок, чудо древних дней,
Растет в минуту; но еще скорей
Его рассеет ветра дуновенье!
Так прерывает резкий звук цепей
Преступного страдальца сновиденье,
Когда он зрит холмы своих полей...
Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие
И, проводивши день, теснятся в ряд.
Друг через друга светлые глядят
Так весело, так пышно и беспечно,
Как будто жить и нравиться им вечно!..

3

И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных;

Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

4

Темны преданья их. Старик чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека,
Повисший над извилистым путем,
Как будто бы удержанный аллою
На воздухе в падении своем,
Он весь оброс зеленою травою;
И не боясь, что камень упадет,
В его тени, храним от непогод,
Пленительней, чем голубые очи
У нежных дев ледяной полуночи,
Склоняясь в жар на длинный стебелек,
Растет воспоминания цветок!..
И под столетней мшистою скалою
Сидел чечен однажды предо мною;
Как серая скала, седой старик,
Задумавшись, главой своей поник...
Быть может, он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать
страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

5

Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный:
Пусть будет странен в нашем он краю,
Как слышал, так его передаю!
Я не хочу, незнаемый толпою,
Чтобы как тайна он погиб со мною;
Пускай ему не внемлют, до конца

Я доскажу! Кто с гордою душою
Родился, тот не требует венца;
Любовь и песни — вот вся жизнь певца;
Без них она пуста, бедна, уныла,
Как небеса без туч и без светила!..

6

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком [1] день встает,
А за крутым Бешту [2] садится,
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

7

Не все судьба голубит нас —
Всему свой день, всему свой час.
Однажды,— солнце закатилось,
Туман белел уж под горой,
Но в эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепеща, жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,
Садились молча на коней,
И заряжали пистолеты,

[1,2] Две главные горы. *(Прим. Лермонтова.)*

И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли!
Когда же день новорожденный
Заветный озарил курган,
И мокрый утренний туман
Рассеял ветер пробужденный,
Он обнажил подошвы гор,
Пустой аул, пустое поле,
Едва дымящийся костер
И свежий след колес — не боле.

8

Но что могло заставить их
Покинуть прах отцов своих
И добровольное изгнанье
Искать среди пустынь чужих?
Гнев Магомета? Прорицанье?
О нет! Примчалась как-то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что все громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть.
Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть — кинжал двойной;
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!

Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы»,—
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает,
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

9

Меж тем летят за годом годы,
Готовят мщение народы,
И пятый год уж настает,
А кровь джяуров не течет.
В необитаемой пустыне
Черкес бродящий отдохнул,
Построен новый был аул
(Его следов не видно ныне).
Старик и воин молодой
Кипят отвагой и враждой.
Уж Росламбек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал;
Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал;
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом:
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном.

10

В тот самый год, осенним днем,
Между Железной [1] и Змеиной [2],
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей, узкою долиной
Тихонько всадник проезжал.
Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

11

Еще небесное светило
Росистый луг не обсушило.
Со скал гранитных над путем
Склонился дикий виноградник,

[1,2] Две горы, находящиеся рядом с Бешту. (*Прим. Лермонтова.*)

Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник.
Но вот остановился он.
Как новой мыслью поражен,
Смущенный взгляд кругом обводит,
Чего-то, мнится, не находит;
То пустит он коня стремглав,
То остановит и, привстав
На стремена, дрожит, пылает.
Все пусто! Он с коня слезает,
К земле сырой главу склоняет
И слышит только шелест трав.
Все одичало, онемело.
Тоскою грудь его полна...
Скажу ль? За кровлю сакли белой,
За близкий топот табуна
Тогда он мир бы отдал целый!..

12

Кто ж этот путник? русский? нет.
На нем чекмень, простой бешмет,
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнем,
И шашка чуть звенит на нем;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле;
И как же горца на седле
Не различить мне с казаками?
Я не ошибся — он черкес!
Но смуглый цвет почти исчез
С его ланит; снега и вьюга
И холод северных небес,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что он черкес!
Густые брови, взгляд орлиный,
Ресницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны;
Отвергнул он обряд чужбины,
Не сбрил бородки и усов,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов;
Он, сколько мог, привычек, правил
Своей отчизны не оставил...

Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен!
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос,
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..

13

Как наши юноши, он молод,
И хладен блеск его очей.
Поверхность темную морей
Так покрывает ранний холод
Корой ледяною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
В очах навеки догорев,
Таятся, как в пещере лев,
Глубоко в сердце; но их власти
Оно никак не избежит.
Пусть будет это сердце камень —
Их пробужденный адский пламень
И камень углем раскалит!

14

И все прошедшее явилось,
Как тень умершего, ему;
Все с этих пор переменилось,
Бог весть и как и почему!
Он в поле выехал пустое,
Вдруг слышит выстрел — что такое?
Как будто на смех, звук один,
Жилец ущелий и стремнин,
Трикраты отзыв повторяет.
Кинжал свой путник вынимает,
И вот, с винтовкой без штыка
В кустах он видит казака;
Пред ним фазан окровавленный,
Росою с листьев окропленный,
Блистая радужным хвостом,
Лежал в траве пробит свинцом.

И ближе путник подъезжает
И чистым русским языком:
«Казак, скажи мне,— вопрошает,—
Давно ли пусто здесь кругом?»
«С тех пор, как русских устрашился
Неустрашимый твой народ!
В чужих горах от нас он скрылся.
Тому сегодня пятый год».

15

Казак умолк, но что с тобою,
Черкес? Зачем твоя рука
Подъята с шашкой роковою?
Прости улыбку казака!
Увы! свершилось наказанье...
В крови, без чувства, без дыханья,
Лежит насмешливый казак.
Черкес глядит на лик холодный,
В нем пробудился дух природный —
Он пощадить не мог никак,
Он удержать не мог удара.
Как в тучах зарево пожара,
Как лава Этны по полям,
Больной румянец по щекам
Его разлился; и блистали
Как лезвеё кровавой стали
Глаза его, и в этот миг
Душа и ад — все было в них.
Оборотясь, с улыбкой злобной
Черкес на север кинул взгляд;
Ничто, ничто смертельный яд
Перед улыбкою подобной!
Волною поднялася грудь,
Хотел он и не мог вздохнуть,
Холодный пот с чела крутого
Катился,— но из уст ни слова!

16

И вдруг очнулся он, вздрогнул,
К луке припал, коня толкнул.
Одно мгновенье на кургане
Он черной птицею мелькнул,
И скоро скрылся весь в тумане.

Чрез камни конь его несет,
Он не глядит и не боится;
Так быстро скачет только тот,
За кем раскаяние мчится!..

17

Куда черкес направил путь?
Где отдохнет младая грудь
И усмирится дум волненье?
Черкес не хочет отдохнуть —
Ужели отдыхает мщенье?
Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел —
Все уничтожил русский воин.
Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей
Векам грядущим в поученье
Он не воздвигнет мавзолей
И так отмстит за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю вас,— он шепчет,— знаю,
И вы узнаете меня;
Давно уж вас я презираю;
Но вашу кровь пролить желаю
Я только с нынешнего дня!»
Он бьет и дергает коня,
И конь летит, как ветер степи;
Надулись ноздри, блещет взор,
И уж в виду зубчаты цепи
Кремнистых бесконечных гор,
И Шат подъемлется за ними
С двумя главами снеговыми,
И путник мнит: «Недалеко,
В час прискачу я к ним легко!»

18

Пред ним, с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты;
Неверны, странны, как мечты,
То разойдутся — то сольются...
Уж час прошел, и двух уж нет!

Они над путником смеются,
Они едва меняют цвет!
Бледнеет путник от досады,
Конь непривычный устает;
Уж солнце к западу идет,
И больше в воздухе прохлады,
А всё пустынные громады,
Хотя и выше и темней,
Еще загадка для очей.

19

Но вот его, подобно туче,
Встречает крайняя гора;
Пестрей восточного ковра
Холмы кругом, всё выше, круче;
Покрытый пеной до ушей,
Здесь начал конь дышать вольней.
И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись.
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя
От сердца, мнилось, отлегло;
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренно гордился,
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один,
Забыл он жизни скоротечность,
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он все, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..

20

Краснеют сизые вершины,
Лучом зари освещены;
Давно расселины темны;
Катясь чрез узкие долины,
Туманы сонные легли,
И только топот лошадиный,
Звуча, теряется вдали.

Погас, бледнея, день осенний;
Свернув душистые листы,
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы;
И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною:
Так сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты после бою
Они на поле роковом),
В кустах найденная луною,
Блистает в сумраке ночном.

21

Уж поздно, путник одинокой
Оделся буркою широкой.
За дубом низким и густым
Дорога скрылась, ветер дует;
Конь спотыкается под ним,
Храпит, как будто гибель чует,
И встал!.. Дивится, слез седок
И видит пропасть пред собою,
А там, на дне ее, поток
Во мраке бешеной волною
Шумит. (Слыхал я этот шум,
В пустыне ветром разнесенный,
И много пробуждал он дум
В груди, тоской опустошенной.)
В недоуменье над скалой
Остался странник утомленный;
Вдруг видит он, в дали пустой
Трепещет огонек, и снова
Садится на коня лихого;
И через силу скачет конь
Туда, где светится огонь.

22

Не дух коварства и обмана
Манил трепещущим огнем,
Не очи злобного шайтана
Светилися в ущелье том:

Две сакли белые, простые,
Таятся мирно за холмом,
Чернеют крыши земляные,
С краев ряды травы густой
Висят зеленой бахромой,
А ветер осени сырой
Поет им песни неземные;
Широкий окружает двор
Из кольев и ветвей забор,
Уже нагнутый, обветшалый;
Все в мертвый сон погружено —
Одно лишь светится окно!..
Заржал черкеса конь усталый,
Ударил о землю ногой,
И отвечал ему другой...
Из сакли кто-то выбегает,
Идет — великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
«Кто здесь?» — «Я странник!» — был ответ.
И больше спрашивать не хочет,
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный. Вкруг коня
Он сам заботится, хлопочет,
Он сам снимает весь прибор
И сам ведет его на двор.

23

Меж тем приветно в сакле дымной
Приезжий встречен стариком;
Сажая гостя пред огнем,
Он руку жмет гостеприимно.
Блистает по стенам кругом
Богатство горца: ружья, стрелы,
Кинжалы с набожным стихом,
В углу башлык убийцы белый
И плеть меж буркой и седлом.
Они заводят речь — о воле,
О прежних днях, о бранном поле;
Кипит, кипит беседа их,
И носятся в мечтах живых
Они к грядущему, к былому;
Проходит неприметно час —
Они сидят! и в первый раз,
Внимая странника рассказ,
Старик дивится молодому.

24

Он сам лезгинец; уж давно
(Так было небом суждено)
Не зрел отечества. Три сына
И дочь младая с ним живут.
При них еще молчит кручина,
И бедный мил ему приют.
Когда горят ночные звезды,
Тогда пускаются в разъезды
Его лихие сыновья:
Живет добычей вся семья!
Они повсюду страх приносят:
Украсть, отнять — им все равно;
Чихирь и мед кинжалом просят
И пулей платят за пшено,
Из табуна ли, из станицы
Любого уведут коня;
Они боятся только дня,
И их владеньям нет границы!
Сегодня дома лишь один
Его любимый старший сын.
Но слов хозяина не слышит
Пришелец! он почти не дышит,
Остановился быстрый взор,
Как в миг паденья метеор:
Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!

25

И кто б, ее увидев, молвил: нет!
Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами
В улыбке уст, в движенье черных глаз,
Все, что так дружно с первыми мечтами,
Все, что встречаем в жизни только раз,
Не отличит от красоты ничтожной,
От красоты земной, нередко ложной?
И кто, кто скажет, совесть заглуша:
Прелестный лик, но хладная душа!
Когда он вдруг увидит пред собою
То, что сперва почел бы он душою,
Освобожденной от земных цепей,
Слетевшей в мир, чтоб утешать людей!

Пусть, подойдя, лезгинку он узнает:
В ее чертах земная жизнь играет,
Восточная видна в ланитах кровь;
Но только удалится образ милый —
Он станет сомневаться в том, что было
И заблужденью он поверит вновь!

26

Нежна — как пери молодая,
Создание земли и рая,
Мила — как нам в краю чужом
Меж звуков языка чужого
Знакомый звук, родных два слова!
Так утешительно мила,
Как древле узнику была
На сумрачном окне темницы
Простая песня вольной птицы,
Стояла Зара у огня!
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко;
В ее наряде простота —
Но также вкус! Ее головка
Платком прилежно обвита;
Из-под него до груди нежной
Две косы темные небрежно
Бегут; уж, верно, час она
Их расплетала, заплетала!
Она понравиться желала:
Как в этом женщина видна!

27

Рукой дрожащей, торопливой
Она поставила стыдливо
Смиренный ужин пред отцом
И улыбнулась; и потом
Уйти хотела; и не знала,
Идти ли? Грудь ее порой
Покров приметно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажет путник молодой.
Но он молчит, блуждают взоры:
Их привлекает лезвеё
Кинжала, ратные уборы;

Но взгляд последний на нее
Был устремлен! смутилась дева,
Но, не боясь отцова гнева,
Она осталась,— и опять
Решилась путнику внимать...
И что-то ум его тревожит;
Своих неконченых речей
Он оторвать от уст не может,
Смеется — но больших очей
Давно не обращает к ней;
Смеется, шутит он,— но хладный,
Печальный смех нейдет к нему.
Замолкнет он — ей вновь досадно,
Сама не знает почему.
Черкес ловил сначала жадно
Движенье глаз ее живых;
И наконец остановились
Глаза, которые резвились,
Ответа ждут, к нему склонились,
А он забыл, забыл о них!
Довольно! этого удара
Вторично дева не снесет:
Ему мешает, видно, Зара?
Она уйдет! Она уйдет!..

28

Кто много странствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил страстей примету,
Кому известен их язык,
Кто рано брошен был судьбою
Меж образованных людей
И, как они, с своей рукою
Не отдавал души своей,—
Тот пылкой женщины пристрастье
Не почитает уж за счастье,
Тот с сердцем диким и простым
И с чувством некогда святым
Шутить боится. Он улыбкой
Слезу старается встречать,
Улыбке хладно отвечать;
Коль обласкает — так ошибкой!
Притворством вечным утомлен,
Уж и себе не верит он;

Душе высокой не довольно
Остатков юности своей.
Вообразить еще ей больно,
Что для огня нет пищи в ней.
Такие люди в жизни светской
Почти всегда причина зла,
Какой-то робостию детской
Их отзываются дела:
И обольстить они не смеют
И вовсе кинуть не умеют!
И часто думают они,
Что их излечит край далекой,
Пустыня, вид горы высокой
Иль тень долины одинокой,
Где юности промчались дни;
Но ожиданье их напрасно:
Душе все внешнее подвластно!

29

Уж милой Зары в сакле нет.
Черкес глядит ей долго вслед
И мыслит: «Нежное созданье!
Едва из детских вышла лет,
А есть уж слезы и желанья!
Бессильный, светлый луч зари,
На темной туче не гори:
На ней твой блеск лишь помрачится,
Ей ждать нельзя, она умчится!

30

Еще не знаешь ты, кто я.
Утешься! Нет, не мирной доле,
Но битвам, родине и воле
Обречена судьба моя.
Я б мог нежнейшею любовью
Тебя любить; но над тобой
Хранитель, верно, неземной:
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?
Тебя ли греть моим объятьям?
Тебя ли станут целовать
Уста, привыкшие к проклятьям?»
. . . . . .

31

Пора! Яснеет уж восток,
Черкес проснулся, в путь готовый.
На пепелище огонек
Еще синел. Старик суровый
Его раздул, пшено сварил,
Сказал, где лучшая дорога,
И сам до ветхого порога
Радушно гостя проводил.
И странник медленно выходит,
Печалью тайной угнетен;
О юной деве мыслит он...
И кто ж коня ему подводит?

32

Уныло Зара перед ним
Коня походного держала
И тихим голосом своим,
Подняв глаза к нему, сказала:
«Твой конь готов! моей рукой
Надета бранная уздечка,
И серебристой чешуей
Блестит кубанская насечка,
И бурку черную ремнем
Я привязала за седлом;
Мне это дело ведь не ново;
Любезный странник, все готово!
Твой конь прекрасен; не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком;
В нем дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Как камень, сглаженный потоком;
Как уголь, взор его блестит,
Лишь наклонись — он полетит;
Его я гладила, ласкала,
Чтобы тебя он, путник, спас
От вражей шашки и кинжала
В степи глухой, в недобрый час!

33

Но погоди в стальное стремя
Ступать поспешною ногой;
Послушай, странник молодой,

Как знать? быть может, будет время,
И ты на милой стороне
Случайно вспомнишь обо мне;
И если чаша пированья
Кипит, блестит в руке твоей,
То не ласкай воспоминанья,
Гони от сердца поскорей;
Но если эта мысль родится,
Но если образ мой приснится
Тебе в страдальческую ночь:
Услышь, услышь мое моленье!
Не презирай то сновиденье,
Не отгоняй те мысли прочь!

34

Приют наш мал, зато спокоен;
Его не тронет русский воин,—
И что им взять? — пять-шесть коней
Да наши грубые одежды?
Поверь ты скромности моей,
Откройся мне: куда надежды
Тебя коварные влекут?
Чего искать? — останься тут,
Останься с нами, добрый странник!
Я вижу ясно — ты изгнанник,
Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее язык.
Зачем спешишь к родному краю,
И что там ждет тебя? — не знаю.
Пусть мой отец твердит порой,
Что без малейшей укоризны
Должны мы жертвовать собой
Для непризнательной отчизны:
По мне отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам!

35

Еще туман белеет в поле,
Опасен ранний хлад вершин...
Хоть день один, хоть час один,
Послушай, час один, не боле,
Пробудь, жестокий, близ меня!
Я покормлю еще коня,

Моя рука его отвяжет,
Он отдохнет, напьется, ляжет,
А ты у сакли здесь, в тени,
Главу мне на руку склони;
Твоих речей услышать звуки
Еще желала б я хоть раз:
Не удержу ведь счастья час,
Не прогоню ведь час разлуки?..»
И Зара с трепетом в ответ
Ждала напрасно два-три слова;
Скрывать печали силы нет,
Слеза с ресниц упасть готова,
Увы! молчание храня,
Садится путник на коня.
Уж ехать он приготовлялся,
Но обернулся — испугался,
И, состраданьем увлечен,
Хотел ее утешить он:

36

«Не обвиняй меня так строго!
Скажи, чего ты хочешь? — слез?
Я их имел когда-то много:
Их мир из зависти унес!
Но не решусь судьбы мятежной
Я разделять с душою нежной;
Свободный, раб иль властелин,
Пускай погибну я один.
Все, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено;
Мое дыханье радость губит,
Щадить — мне власти не дано!
И не простого человека
(Хотя в одежде я простой),
Утешься! Зара! пред собой
Ты видишь брата Росламбека!
Я в жертву счастье должен принести...
О! не жалей о том! — прости, прости!..»

37

Сказал, махнул рукой, и звук подков
Раздался, в отдаленье умирая.
Едва дыша, без слез, без дум, без слов,
Она стоит, бесчувственно внимая,

Как будто этот дальний звук подков
Всю будущность ее унес с собою.
О Зара, Зара! краткою мечтою
Ты дорожила; где ж твоя мечта?
Как очи полны, как душа пуста!
Одно мгновенье тяжелей другого,
Все, что прошло, ты оживляешь снова!..
По целым дням она глядит туда,
Где скрылася любви ее звезда,
Везде, везде она его находит:
В вечерних тучах милый образ бродит;
Услышав ночью топот, с ложа сна
Вскочив, дрожит и ждет его она,
И, постепенно ветром разносимый,
Все ближе, ближе топот — и все мимо!
Так метеор порой летит на нас,
И ждешь — и близок он — и вдруг погас!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

High minds, of native pride and force,
Most deeply feel thy pangs, Remorse!
Fear, for their scourge, mean villains have,
Thou art the torturer of the brave!

«Marmion». *S. Walter-Scott* [1]

1

Шумит Аргуна мутною волной;
Она коры не знает ледяной,
Цепей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снегов родится,
И там, где даже серна не промчится,
Дитя природы, с детской простотой,
Она, резвясь, играет и катится!

---

[1] Высокие души, по природной гордости и силе,
Глубже всех чувствуют твои угрызения, Совесть!
Страх, словно бич, повелевает низкой чернью,
Ты же — истязатель смелого!

«Мармион». *С. Вальтер Скотт (англ.).*

Порою, как согнутое стекло,
Меж длинных трав прозрачно и светло
По гладким камням в бездну ниспадая,
Теряется во мраке, и над ней
С прощальным воркованьем вьется стая
Пугливых сизых вольных голубей...
Зеленым можжевельником покрыты,
Над мрачной бездной гробовые плиты
Висят и ждут, когда замолкнет вой,
Чтобы упасть и все покрыть собой.
Напрасно ждут они! волна не дремлет.
Пусть темнота кругом ее объемлет,
Прорвет Аргуна землю где-нибудь
И снова полетит в далекий путь!

2

На берегу ее кипучих вод
Недавно новый изгнанный народ
Аул построил свой — и ждал мгновенье,
Когда свершить придуманное мщенье;
Черкес готовил дерзостный набег,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной;
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы.

3

Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен;
Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться или с ним равняться;
Не должно мыслей открывать своих
Иль спрашивать у подданных совета,
И забывать, что лучше гор златых
Иному ласка и слова привета!
Старайся первым быть везде, всегда;
Не забывайся, будь в пирах умерен,

Не трогай суеверий никогда
И сам с толпой умей быть суеверен;
Страшись сначала много успевать,
Страшись народ к победам приучать,
Чтоб в слабости своей он признавался,
Чтоб каждый миг в спасителе нуждался,
Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем
И почитал нуждою — принужденья;
Умей отважно пользоваться всем
И не проси никак вознагражденья!
Народ — ребенок: он не хочет дать,
Не покушайся вырвать — но украдь!

4

У Росламбека брат когда-то был:
О нем жалеют шайки удалые;
Отцом в Россию послан Измаил,
И их надежду отняла Россия.
Четырнадцати лет оставил он
Края, где был воспитан и рожден,
Чтоб знать законы и права чужие!
Не под персидским шелковым ковром
Родился Измаил; не песнью нежной
Он усыплен был в сумраке ночном:
Его баюкал бури вой мятежный!
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!
В пещере темной, где, гонимый братом,
Убийцею коварным, Бей-Булатом,
Его отец таился много лет,
Изгнанник новый, он увидел свет!

5

Как лишний меж людьми, своим
рожденьем
Он душу не обрадовал ничью,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, преступленьем.
Он материнской ласки не знавал:
Не у груди, под буркою согретый,
Один провел младенческие леты;
И ветер колыбель его качал,

И месяц полуночи с ним играл!
Он вырос меж землей и небесами,
Не зная принужденья и забот;
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один лазурный свод;
И лишь орлы да скалы величавы
С ним разделяли юные забавы.
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою,
И бури юга отразились в ней
Со всей своей ужасной красотою!..
Но к русским послан он своим отцом,
И с той поры известья нет о нем...

6

Горой от солнца заслоненный,
Приют изгнанников смиренный,
Между кизиловых дерев
Аул рассыпан над рекою;
Стоит отдельно каждый кров,
В тени под дымной пеленою.
Здесь в летний день, в полдневный жар,
Когда с камней восходит пар,
Толпа детей в траве играет,
Черкес усталый отдыхает;
Меж тем сидит его жена
С работой в сакле одиноко,
И песню грустную она
Поет о родине далекой:
И облака родных небес
В мечтаньях видит уж черкес!
Там луг душистей, день светлее!
Роса перловая свежее;
Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушною тропой,
Там в первый раз, еще несмелый,
На лук накладывал он стрелы...

7

Дни мчатся. Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды; но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сиянье бродит!

8

Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден — он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И, живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

9

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!

Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!

*

Кто жениться захотел,
Тот худой избрал удел,
С русским в бой он не поскачет;
Отчего? — жена заплачет!
Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!

*

Не изменит добрый конь:
С ним — и в воду и в огонь;
Он как вихрь в степи широкой,
С ним — все близко, что далеко.
Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!

10

Откуда шум? Кто эти двое?
Толпа в молчанье раздалась.
Нахмурив бровь, подходит князь,
И рядом с ним лицо чужое.
Три узденя за ними вслед.
«Велик Алла и Магомет! —
Воскликнул князь.— Сама могила
Покорна им! в стране чужой
Мой брат храним был их рукой:
Вы узнаете ль Измаила?
Между врагами он возрос,
Но не признал их он святыни,
И в наши синие пустыни
Одну лишь ненависть принес!»

11

И по долине восклицанья
Восторга дикого гремят;
Благословляя час свиданья,
Вкруг Измаила стар и млад
Теснятся, шепчут; поднимая
На плечи маленьких ребят,
Их жены смуглые, зевая,
На князя нового глядят.
Где ж Росламбек, кумир народа?
Где тот, кем славится свобода?
Один, забыт, перед огнем,
Поодаль, с пасмурным челом,
Стоял он, жертва злой досады.
Давно ли привлекал он сам
Все помышления, все взгляды?
Давно ли по его следам
Вся эта чернь, шумя, бежала?
Давно ль, дивясь его делам,
Их мать ребенку повторяла?
И что же вышло? — Измаил,
Врагов отечества служитель,
Всю эту славу погубил
Своим приездом? — и властитель,
Вчерашний гордый полубог,
Вниманья черни бестолковой
К себе привлечь уже не мог!
Ей все пленительно, что ново!
«Простынет!» — мыслит Росламбек.
Но если злобный человек
Узнал уж зависть, то не может
Совсем забыть ее никак;
Ее насмешливый призрак
И днем и ночью дух тревожит.

12

Война!.. Знакомый людям звук
С тех пор, как брат от братних рук
Пред алтарем погиб невинно...
Гремя, через Кавказ пустынный
Промчался клик: война! война!
И пробудились племена.
На смерть идут они охотно.

Умолк аул, где беззаботно
Недавно слушали певца;
Оружья звон, движенье стана:
Вот ныне песни молодца,
Вот удовольствия байрана!..
«Смотри, как всякий биться рад
За дело чести и свободы!..
Так точно было в наши годы,
Когда нас вел Ахмат-Булат!» —
С улыбкой гордою шептали
Между собою старики,
Когда дорогой наблюдали
Отважных юношей полки;
Пора! кипят они досадой:
Что русских нет? — им крови надо!

13

Зима проходит; облака
Светлей летят по дальним сводам,
В реке глядятся мимоходом;
Но с гордым бешенством река,
Крутясь, как змей, не отвечает
Улыбке неба своего
И белых путников его
Меж тем упорно обгоняет.
И ровны, прямы, как стена,
По берегам темнеют горы;
Их крутизна, их вышина
Пленяют ум, пугают взоры.
К вершинам их прицеплена
Нагими красными корнями,
Кой-где кудрявая сосна
Стоит печальна и одна,
И часто мрачными мечтами
Тревожит сердце: так порой
Властитель, полубог земной,
На пышном троне, окруженный
Льстецов толпою униженной,
Грустит о том, что одному
На свете равных нет ему!

14

Завоевателю преграда
Положена в долине той;
Из камней и дерев громада
Аргуну давит под собой.
К аулу нет пути иного;
И мыслят горцы: «Враг лихой!
Тебе могила уж готова!»
Но прямо враг идет на них,
И блеск орудий громовых
Далеко сквозь туман играет.
И Росламбек совет сзывает;
Он говорит: «В тиши ночной
Мы нападем на их отряды,
Как упадают водопады
В долину сонную весной...
Погибнут молча наши гости,
И их разбросанные кости,
Добыча вранов и волков,
Сгниют, лишенные гробов.
Меж тем с боязнию лукавой
Начнем о мире договор
И втайне местию кровавой
Омоем долгий наш позор».

15

Согласны все на подвиг ратный,
Но не согласен Измаил.
Взмахнул он шашкою булатной,
И шумно с места он вскочил;
Окинул вмиг летучим взглядом
Он узденей, сидевших рядом,
И, опустивши свой булат,
Так отвечает брату брат:
«Я не разбойник потаенный;
Я видеть, видеть кровь люблю;
Хочу, чтоб мною пораженный
Знал руку грозную мою!
Как ты, я русских ненавижу,
И даже более, чем ты;
Но под покровом темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной стране,
Иную славу надо мне!..»

И поединка ожидали
Меж братьев молча уздени;
Не смели тронуться они.
Он вышел — все еще молчали!

16

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан;
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забыть меж небом и землей.
Здесь три столетья очарован,
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда надменный с новых скал
Стрелой пророку угрожал.
Как буркой, ельником покрыта,
Соседних гор она черней.
Тропинка желтая прорыта
Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохом, ни кустами
Не зарастает никогда;
Пестрея чудными следами,
Она ведет... бог весть куда?
Олень с ветвистыми рогами,
Между высокими цветами,
Одетый хмелем и плющом,
Лежит полуобъятый сном;
И вдруг знакомый лай он слышит
И чует близкого врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свежестью подышит,
Росу с могучих плеч стряхнет
И вдруг одним прыжком махнет
Через утес; и вот он мчится,
Тернов колючих не боится
И хмель коварный грудью рвет:
Но, вольный путь пересекая,
Пред ним тропинка роковая...
Никем не зримая рука
Царя лесов остановляет,
И он, как гибель ни близка,
Свой прежний путь не продолжает!..

17

Кто ж под ужасною горой
Зажег огонь сторожевой?
Треща, краснея и сверкая,
Кусты вокруг он озарил,
На камень голову склоняя,
Лежит поодаль Измаил:
Его приверженцы хотели
Идти за ним — но не посмели!

18

Вот что ему родной готовил край?
Сбылись мечты! увидел он свой рай,
Где мир так юн, природа так богата,
Но люди, люди.. что природа им?
Едва успел обнять изгнанник брата,
Уж клевета и зависть — всё над ним!
Друзей улыбка, нежное свиданье,
За что б другой творца благодарил,
Все то ему дается в наказанье;
Но для терпенья ль создан Измаил?
Бывают люди: чувства — им страданья;
Причуда злой судьбы — их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами;
Так, древле, в море кинул царь алмаз,
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но чаще обвиняет, потому,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

19

«Бессмысленный! зачем отвергнул ты
Слова любви, моленья красоты?
Зачем, когда так долго с ней сражался,
Своей судьбы ты детски испугался?
Все прежнее, незнаемый молвой,
Ты б мог забыть близ Зары молодой,
Забыть людей близ ангела в пустыне,
Ты б мог любить, но не хотел! — и ныне
Картины счастья живо пред тобой
Проходят укоряющей толпой;
Ты жмешь ей руку, грудь ее <и> плечи
Целуешь в упоенье; ласки, речи,
Исполненные счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь; образ милый,
Волшебный взор — все пред тобой, как было
Еще недавно; все мечты твои
Так вероятны, что душа боится,
Не веря им, вторично ошибиться!
А чем ты это счастье заменил?» —
Перед огнем так думал Измаил.
Вдруг выстрел, два и много! — он вскочил
И слушает, но все утихло снова.
И говорит он: «Это сон больного!»

20

Души волненьем утомлен,
Опять на землю князь ложится;
Трещит огонь, и дым клубится,—
И что же? — призрак видит он!
Перед огнем стоит спокоен,
На саблю опершись рукой,
В фуражке белой русский воин,
Печальный, бледный и худой.
Спросить хотелось Измаилу,
Зачем оставил он могилу!
И свет дрожащего огня,
Упав на смуглые ланиты,
Черкесу придал вид сердитый:
«Чего ты хочешь от меня?»
«Гостеприимства и защиты! —
Пришлец бесстрашно отвечал,—
Свой путь в горах я потерял,

Черкесы вслед за мной спешили
И казаков моих убили,
И верный конь под мною пал!
Спасти, убить врага ночного
Равно ты можешь! не боюсь
Я смерти: грудь моя готова.
Твоей я чести предаюсь!»
«Ты прав; на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся».

21

Тиха, прозрачна ночь была,
Светила на небе блистали,
Луна за облаком спала,
Но люди ей не подражали.
Перед огнем враги сидят,
Хранят молчанье и не спят.
Черты пришельца возбуждали
У князя новые мечты,
Они ему напоминали
Давно знакомые черты;
То не игра воображенья.
Он должен разрешить сомненья...
И так пришельцу говорил
Нетерпеливый Измаил:
«Ты молод, вижу я! за славой
Привыкнув гнаться, ты забыл,
Что славы нет в войне кровавой
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы и волю
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?»

22

«Ты ошибаешься, черкес! —
С улыбкой русский отвечает.—
Поверь: меня, как вас, пленяет
И водопад и темный лес;
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,
И ваше племя я люблю:
Но одного я ненавижу!
Черкес он родом, не душой,
Ни в чем, ни в чем не схож с тобой!
Себе иль князю Измаилу
Клялся я здесь найти могилу...
К чему опять ты мрачный взор
Мохнатой шапкой закрываешь?
Твое молчанье мне укор;
Но выслушай, ты все узнаешь...
И сам досадой запылаешь...

23

Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил;
Но, образованный, меж нами
Родными бредил он полями,
И все черкес в нем виден был.
В пирах и битвах отличался
Он перед всеми! томный взгляд
Восточной негой отзывался:
Для наших женщин он был яд!
Воспламенив их воображенье,
Повелевал он без труда,
И за проступок наслажденье
Не почитал он никогда;
Не знаю — было то презренье
К законам стороны чужой
Или испорченные чувства!..
Любовью женщин, их тоской
Он веселился как игрой;
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.

24

Черкес! видал я здесь прекрасных
Свободы нежных дочерей,
Но не сравню их взоров страстных
С приветом северных очей.
Ты не любил! — ни слов опасных,
Ни уст волшебных не знавал;
Кудрями девы золотыми
Ты в упоенье не играл,
Ты клятвам страсти не внимал,
И не был ты обманут ими!
Но я любил! Судьба меня
Блестящей радугой манила,
Невольно к бездне подводила..
И ждал я счастливого дня!
Своей невестой дорогою
Я смел уж ангела назвать,
Невинным ласкам отвечать
И с райской девой забывать,
Что рая нет уж под луною.
И вдруг ударил страшный час,
Причина долголетней муки;
Призыв войны, отчизны глас,
Раздался вестником разлуки.
Как дым рассеялись мечты!
Тот день я буду помнить вечно...
Черкес! черкес! ни с кем, конечно,
Ни с кем не расставался ты!

25

В то время Измаил случайно
Невесту увидал мою,
И страстью запылал он тайно!
Меж тем как в дальном я краю
Искал в боях конца иль славы,
Сластолюбивый и лукавый,
Он сердце девы молодой
Опутал сетью роковой.
Как он умел слезой притворной
К себе доверенность вселять!
Насмешкой — скромность побеждать
И, побеждая, вид покорный
Хранить; иль весь огонь страстей
Мгновенно открывать пред ней!

Он очертил волшебным кругом
Ее желанья; ведал он,
Что быть не мог ее супругом,
Что разделял их наш закон,
И обольщенная упала
На грудь убийцы своего!
Кроме любви, она не знала,
Она не знала ничего...

26

Но скоро скуку пресыщенья
Постиг виновный Измаил!
Таиться не было терпенья,
Когда погас минутный пыл.
Оставил жертву обольститель
И удалился в край родной,
Забыв, что есть на небе мститель,
А на земле еще другой!
Моя рука его отыщет
В толпе, в лесах, в степи пустой,
И казни грозной меч просвищет
Над непреклонной головой;
Пусть лик одежда изменяет:
Не взор — душа врага узнает!

27

Черкес, ты понял, вижу я,
Как справедлива месть моя!
Уж на устах твоих проклятья!
Ты, внемля, вздрагивал не раз...
О, если б мог пересказать я,
Изобразить ужасный час,
Когда прелестное созданье
Я в униженье увидал
И безотчетное страданье
В глазах увядших прочитал!
Она рассудок потеряла;
Рядилась, пела <и> плясала
Иль, сидя молча у окна,
По целым дням, как бы не зная,
Что изменил он ей, вздыхая,
Ждала изменника она.

Вся жизнь погибшей девы милой
Остановилась на былом;
Ее безумье даже было
Любовь к нему и мысль об нем...
Какой душе не знал он цену!..»
И долго русский говорил
Про месть, про счастье, про измену:
Его не слушал Измаил.
Лишь знает он да бог единый,
Что под спокойною личиной
Тогда происходило в нем.
Стеснив дыханье, вверх лицом
(Хоть сердце гордое и взгляды
Не ждали от небес отрады)
Лежал он на земле сырой,
Как та земля, и мрачный и немой!

28

Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные —
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Лишь дунет вихрь — и сломится лилея;
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он;
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след:
Все в мире есть — забвенья только нет!

29

Светает. Горы снеговые
На небосклоне голубом
Зубцы подъемлют золотые;
Слилися с утренним лучом
Края волнистого тумана,
И на верху горы Шайтана
Огонь, стыдясь перед зарей,

Бледнеет — тихо приподнялся,
Как перед смертию больной,
Угрюмый князь с земли сырой.
Казалось, вспомнить он старался
Рассказ ужасный и желал
Себя уверить он, что спал;
Желал бы счесть он все мечтою...
И по челу провел рукою;
Но грусть — жестокий властелин!
С чела не сгладил он морщин.

30

Он встал, он хочет непременно
Пришельцу быть проводником.
Не зная думать что о нем,
Согласен юноша смущенный.
Идут они глухим путем,
Но их тревожит все: то птица
Из-под ноги у них вспорхнет,
То краснобокая лисица
В кусты цветущие нырнет.
Они все ниже, ниже сходят
И рук от сабель не отводят.
Через опасный переход
Спешат, нагнувшись, без оглядки;
И вновь на холм крутой взошли,
И цепью русские палатки,
Как на ночлеге журавли,
Белеют смутно уж вдали!
Тогда черкес остановился,
За руку путника схватил
И — кто бы, кто не удивился? —
По-русски с ним заговорил.

31

«Прощай! ты можешь безопасно
Теперь идти в шатры свои;
Но, если веришь мне, напрасно
Ты хочешь потопить в крови
Свою печаль! страшись, быть может,
Раскаянье прибавишь к ней.
Болезни этой не поможет
Ни кровь врага, ни речь друзей!

Напрасно здесь, в краю далеком,
Ты губишь прелесть юных дней;
Нет, не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри ж, он здесь перед тобой!»
И с видом гордого презренья
Ответа князь не ожидал;
Он скрылся меж уступов скал —
И долго русский без движенья
Один как вкопанный стоял.

32

Меж тем, перед горой Шайтаном
Расположась военным станом,
Толпа черкесов удалых
Сидела вкруг огней своих;
Они любили Измаила,
С ним вместе слава иль могила,
Им все равно! лишь только б с ним!
Но не могла б судьба одним
И нежным чувством меж собою
Сковать людей с умом простым
И с беспокойною душою:
Их всех обидел Росламбек!
(Таков повсюду человек.)

33

Сидят наездники беспечно,
Курят турецкий свой табак
И князя ждут они. «Конечно,
Когда исчезнет ночи мрак,
Он к нам сойдет; и взор орлиный
Смирит враждебные дружины,
И вздрогнут перед ним они,
Как Росламбек и уздени!» —
Так, песню воли напевая,
Шептала шайка удалая.

Безмолвно, грустно, в стороне,
Подняв глаза свои к луне,
Подруге дум любви мятежной,
Прекрасный юноша стоял,—
Цветок, для смерти слишком нежный!
Он также Измаила ждал,
Но не беспечно. Трепет тайный
Порывам сердца изменял,
И вздох тяжелый, не случайный,
Не раз из груди вылетал;
И он явился к Измаилу,
Чтоб разделить с ним — хоть могилу!
Увы! такая ли рука
В куски изрубит казака?
Такой ли взор, стыдливый, скромный,
Глядит на мир, чтоб видеть кровь?
Зачем он здесь, и ночью темной,
Лицом прелестный, как любовь,
Один в кругу черкесов праздных,
Жестоких, буйных, безобразных?
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,
Когда б... но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже
Хранит причину от людей
Своих надежд, своих страстей.
И тайна юного Селима,
Чуждаясь уст, ланит, очей,
От любопытных, как от змей,
В груди сокрылась невредима!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

She told nor whence, nor why she left behind
Her all for one who seem'd but little kind.
Why did she love him? Curious fool! — be still —
Is human love the growth of human will?..

«Lara». *L. Byron* [1]

1

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и Запад и Восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.

---

[1] Она не сказала, ни откуда она, ни почему оставила
Все ради того, кто не был, казалось, даже ласков с нею.
За что она любила его? Пытливый глупец! Молчи:
Разве по воле человека рождается человеческая любовь?..

«Лара». *Лорд Байрон (англ.).*

Настанет час — и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!

2

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем вслед звучит кинжал,
Отпрянул русский — захрипел — и пал!
«Отмсти, товарищ!» — и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит — черкесской вольности костер!..

3

В ауле дальном Росламбек угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасом объят;
Но у него коварные есть думы,
Им помешать теперь не может брат.
Где ж Измаил? — безвестными горами
Блуждает он, дерется с казаками,
И, заманив полки их за собой,
Пустыню усыпает их костями,
И манит новых по дороге той.
За ним устали русские гоняться,
На крепости природные взбираться;
Но отдохнуть черкесы не дают;
То скроются, то снова нападут.
Они, как тень, как дымное виденье,
И далеко и близко в то ж мгновенье.

4

Но в бурях битв не думал Измаил
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей он мстил —
И не пленялся именем героя;
Он ведал цену почестей и слов,
Изобретенных только для глупцов!
Недолгий жар погас! душой усталый,
Его бы не желал он воскресить;
И не родной аул — родные скалы
Решился он от русских защитить!

5

Садится день, одетый мглою,
Как за прозрачной пеленою...
Ни ветра на земле, ни туч
На бледном своде! чуть приметно
Орла на вышине бесцветной;
Меж скал блуждая, желтый луч
В пещеру дикую прокрался
И гладкий череп озарил,
И сам на жителе могил
Перед кончиной разыгрался,
И по разбросанным костям,
Травой поросшим, здесь и там
Скользнул огнистой полосою,
Дивясь их вечному покою.
Но прежде встретил он двоих
Недвижных также, но живых...
И, как немые жертвы гроба,
Они беспечны были оба!

6

Один... так точно! — Измаил!
Безвестной думой угнетаем,
Он солнце тусклое следил,
Как мы нередко провождаем
Гостей докучливых; на нем
Черкесский панцирь и шелом,
И пятна крови омрачали
Местами блеск военной стали.

Младую голову Селим
Вождю склоняет на колени;
Он всюду следует за ним,
Хранительной подобно тени;
Никто ни ропота, ни пени
Не слышал на его устах...
Боится он или устанет,
На Измаила только взглянет —
И весел труд ему и страх!

7

Он спит — и длинные ресницы
Закрыли очи под собой;
В ланитах кровь, как у девицы,
Играет розовой струей;
И на кольчуге боевой
Ему не жестко. С сожаленьем
На эти нежные черты
Взирает витязь, и мечты
Его исполнены мученьем:
«Так светлой каплею роса,
Оставя край свой, небеса,
На лист увядший упадает;
Блистая райским жемчугом,
Она покоится на нем,
И, беззаботная, не знает,
Что скоро лист увядший тот
Пожнет коса иль конь сомнет!»

8

С полуоткрытыми устами,
Прохладой вечера дыша,
Он спит; но мирная душа
Взволнована! полусловами
Он с кем-то говорит во сне!
Услышал князь и удивился;
К устам Селима в тишине
Прилежным ухом он склонился:
Быть может, через этот сон
Его судьбу узнает он...

«Ты мог забыть? — любви не нужно
Одной лишь нежности наружной...
Оставь же!» — сонный говорил.
«Кого оставить?» — князь спросил.
Селим умолк, но на мгновенье;
Он продолжал: «К чему сомненье?
На всем лежит его презренье...
Увы! что значит перед ним
Простая дева иль Селим?
Так будет вечно между нами...
Зачем бесценными устами
Он это имя освятил?»
«Не я ль?» — подумал Измаил.
И, погодя, он слышит снова:
«Ужасно, боже! для детей
Проклятие отца родного,
Когда на склоне поздних дней
Оставлен ими... но страшней
Его слеза!..» Еще два слова
Селим сказал, и слабый стон
Вдруг поднял грудь, как стон прощанья,
И улетел. Из состраданья
Князь прерывает тяжкий сон.

9

И, вздрогнув, юноша проснулся,
Взглянул вокруг и улыбнулся,
Когда он ясно увидал,
Что на коленях друга спал.
Но, покрасневши, сновиденье
Пересказать стыдился он,
Как будто бы лукавый сон
Имел с судьбой его сношенье.
Не отвечая на вопрос
(Примета явная печали),
Щипал он листья диких роз,
И наконец две капли слез
В очах склоненных заблистали;
И с быстротой отворотясь,
Он слезы осушил рукою...
Все примечал, все видел князь;
Но не смутился он душою,
И приписал он простоте,
Затеям детским слезы те.

Конечно, сам давно не знал он
Печалей сладостных любви?
И сам давно не предавал он
Слезам страдания свои?

10

Не знаю!.. но в других он чувства
Судить отвык уж по своим.
Не раз личиною искусства,
Слезой и сердцем ледяным,
Когда обманов сам чуждался,
Обманут был он; и боялся
Он верить, только потому,
Что верил некогда всему!
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль — все призрак
ложный!
Где память о добре и зле — все яд!
Где льстит нам зло, но более тревожит;
Где сердца утешать добро не может;
И где они, покорствуя страстям,
Раскаянье одно приносят нам...

11

Селим встает, на гору всходит.
Сребристый стелется ковыль
Вокруг пещеры; сумрак бродит
Вдали... вот топот! вот и пыль,
Желтея, поднялась в лощине!
И крик черкесов по заре
Гудит, теряясь в пустыне!
Селим все слышал на горе;
Стремглав в пещеру он вбегает:
«Они! они!» — он восклицает,
И князя нежною рукой
Влечет он быстро за собой.
Вот первый всадник показался,
Он, мнилось, из земли рождался,
Когда въезжал на холм крутой;
За ним другой, еще другой,
И вереницею тянулись

Они по узкому пути:
Там, если б два коня столкнулись,
Назад бы оба не вернулись
И не могли б вперед идти.

12

Толпа джигитов [1] удалая,
Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит. Но к ним подходит князь,
И все утихло! уваженье
В их выразительных чертах;
Но уважение — не страх;
Не власть его основа — мненье!
«Какие вести?» — «Русский стан
Пришел к Оссаевскому полю,
Им льстит и бедность наших стран!
Их много!» — «Кто не любит волю?»
Молчат. «Так дайте ж отдохнуть
Своим коням; с зарею в путь.
В бою мы ради лечь костями;
Чего <же> лучшего нам ждать?
Но в цвете жизни умирать...
Селим, ты не поедешь с нами!..»

13

Бледнеет юноша, и взор
Понятно выразил укор.
«Нет,— говорит он,— я повсюду,
В изгнанье, в битве спутник твой;
Нет, клятвы я не позабуду —
Угаснуть или жить с тобой!
Не робок я под свистом пули,
Ты видел это, Измаил;
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною был!
И с твоего чела не я ли
Смывал так часто пыль и кровь?
Когда друзья твои бежали,
Чьи речи, ласки прогоняли
Суровый мрак твоей печали?

---

[1] Наездники. *(Прим. Лермонтова.)*

Мои слова! моя любовь!
Возьми, возьми меня с собою!
Ты знаешь, я владеть стрелою
Могу... И что мне смерть? — о нет!
Красой и счастьем юных лет
Моя душа не дорожила;
Все, все оставлю, жизнь и свет,
Но не оставлю Измаила!»

14

Взглянул на небо молча князь,
И наконец, отворотясь,
Он протянул Селиму руку;
И крепко тот ее пожал
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знак сей обещал!
И долго витязь так стоял;
И под нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я мог бы этот блеск назвать,
Когда б не скрылся он опять!..

15

По косогору ходят кони;
Колчаны, ружья, седла, брони
В пещеру на ночь снесены;
Огни у входа зажжены;
На князе яркая кольчуга
Блестит, краснея; погружен
В мечтанье горестное он;
И от страстей, как от недуга,
Бежит спокойствие и сон.
И говорит Селим: «Наверно,
Тебя терзает дух пещерный!
Дай песню я тебе спою;
Нередко дева молодая
Ее поет в моем краю,
На битву друга отпуская!
Она печальна; но другой
Я не слыхал в стране родной.
Ее певала мать родная
Над колыбелию моей,
Ты, слушая, забудешь муки,

И на глаза навеют звуки
Все сновиденья детских дней!»
Селим запел, и ночь кругом внимает,
И песню ей пустыня повторяет.

ПЕСНЯ СЕЛИМА

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
И дева ему говорит:

«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Любви будь вернее!

Всегда награжден,
Кто любит до гроба,
Ни зависть, ни злоба
Ему не закон;
Пускай его смерть и погубит;
Один не погибнет, кто любит!

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют!»

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет!

«Прочь эту песню! — как безумный
Воскликнул князь,— зачем упрек?..
Тебя ль послушает пророк?..
Там, облит кровью, в битве шумной
Твои слова я заглушу
И разорву ее оковы...

И память в сердце удушу!..
Вставайте! — как? — вы не готовы?..
Прочь песни! — крови мне!.. пора!..
Друзья! коней!.. вы не слыхали...
Удары, топот, визг ядра,
И крик, и треск разбитой стали?..
Я слышал!.. О, не пой, не пой!
Тронь сердце, как дрожит, и что же?
Ты недовольна?.. боже! боже!..
Зачем казнить ее рукой?..»
Так речь его оторвалася
От бледных уст и пронеслася
Невнятно, как далекий гром.
Неровным, трепетным огнем
До половины освещенный,
Ужасен, с шашкой обнаженной
Стоял недвижим Измаил,
Как призрак злой, от сна могил
Волшебным словом пробужденный;
Он взор всей силой устремил
В пустую степь, грозил рукою,
Чему-то страшному грозил:
Иначе, как бы Измаил
Смутиться твердой мог душою?
И понял наконец Селим,
Что витязь говорил не с ним!
Неосторожный! он коснулся
Душевных струн,— и звук проснулся,
Расторгнув хладную тюрьму...
И сам искусству своему
Селим невольно ужаснулся!

16

Толпа садится на коней;
При свете гаснущих огней
Мелькают сумрачные лица.
Так опоздавшая станица
Пустынных белых журавлей
Вдруг поднимается с полей...
Смех, клики, ропот, стук и ржанье!
Все дышит буйством и войной!
Во всем приличия незнанье,
Отвага дерзости слепой.

17

Светлеет небо полосами;
Заря меж синими рядами
Ревнивых туч уж занялась.
Вдоль по лощине едет князь,
За ним черкесы цепью длинной.
Признаться: конь по седоку!
Бежит, и будто ветр пустынный,
Скользящий шумно по песку,
Крутится, вьется на скаку;
Он бел, как снег: во мраке ночи
Его заметить могут очи.
С колчаном звонким за спиной,
Отягощен своим нарядом,
Селим проворный едет рядом
На кобылице вороной.
Так белый облак, в полдень знойный,
Плывет отважно и спокойно,
И вдруг по тверди голубой
Отрывок тучи громовой,
Грозы дыханием гонимый,
Как черный лоскут мчится мимо;
Но как ни бейся, в вышине
Он с тем не станет наравне!

18

Уж близко роковое поле.
Кому-то пасть решит судьба?
Вдруг им послышалась стрельба;
И каждый миг все боле, боле,
И пушки голос громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнул князь, махнул рукою.
«Вперед! — воскликнул он,— за мною!»
Сказал и бросил повода.
Нет! так прекрасен никогда
Он не казался! Повелитель,
Герой по взорам и речам,
Летел к опасным он врагам,
Летел, как ангел-истребитель;
И в этот миг, скажи, Селим,
Кто б не последовал за ним?

19

Меж тем с беспечною отвагой
Отряд могучих казаков
Гнался за малою ватагой
Неустрашимых удальцов;
Всю эту ночь они блуждали
Вкруг неприязненных шатров;
Их часовые увидали,
И пушка грянула по ним,
И казаки спешат навстречу!
Едва с отчаяньем немым
Они поддерживали сечу,
Стыдясь и в бегстве показать,
Что смерть их может испугать.
Их круг тесней уж становился;
Один под саблею свалился,
Другой, пробитый в грудь свинцом,
Был в поле унесен конем,
И, мертвый, на седле все бился!..
Оружье брось, надежды нет,
Черкес! читай свои молитвы!
В крови твой шелковый бешмет,
Тебе другой не видеть битвы!
Вдруг пыль! и крик! — он им знаком:
То крик родной, не бесполезный!
Глядят и видят: над холмом
Стоит их князь в броне железной!..

20

Недолго Измаил стоял:
Вздохнуть коню он только дал,
Взглянул, и ринулся, и смял
Врагов, и путь за ним кровавый
Меж их рядами виден стал!
Везде, налево и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадают;
Не видят блеск ее враги
И беззащитно умирают!
Как юный лев, разгорячась,
В средину их врубился князь;
Кругом свистят и реют пули;
Но что ж? его хранит пророк!

Шелом удары не согнули,
И худо метится стрелок.
За ним, погибель рассыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрез минуту шумный бой
Рассыпался в долине той...

21

Далеко от сраженья, меж кустов,
Питомец смелый трамских табунов,
Расседланный, хладея постепенно,
Лежал издохший конь; и перед ним,
Участием исполненный живым,
Стоял черкес, соратника лишенный;
Крестом сжав руки и кидая взгляд
Завистливый туда, на поле боя,
Он проклинать судьбу свою был рад,
Его печаль — была печаль героя!
И весь в поту, усталостью томим,
К нему в испуге подскакал Селим
(Он лук не напрягал еще, и стрелы
Все до одной в колчане были целы).

22

«Беда! — сказал он,— князя не видать!
Куда он скрылся?» — «Если хочешь знать,
Взгляни туда, где бранный дым краснее,
Где гуще пыль и смерти крик сильнее,
Где кровью облит мертвый и живой,
Где в бегстве нет надежды никакой:
Он там! — смотри: летит как с неба пламя;
Его шишак и конь — вот наше знамя!
Он там! — как дух, разит и невредим,
И все бежит иль падает пред ним!» —
Так отвечал Селиму сын природы —
А лесть была чужда степей свободы!..

23

Кто этот русский? с саблею в руке,
В фуражке белой? страха он не знает!
Он между всех отличен вдалеке,
И казаков примером ободряет;

Он ищет Измаила — и нашел,
И вынул пистолет свой, и навел,
И выстрелил! — напрасно! — обманулся
Его свинец! — но выстрел роковой
Услышал князь, и мигом обернулся,
И задрожал. «Ты вновь передо мной!
Свидетель бог: не я тому виной!..» —
Воскликнул он, и шашка зазвенела,
И, отделясь от трепетного тела,
Как зрелый плод от ветки молодой,
Скатилась голова; и конь ретивый,
Встав на дыбы, заржал, мотая гривой,
И скоро обезглавленный седок
Свалился на растоптанный песок.
Не долго это сердце увядало,
И мир ему! — в единый миг оно
Любить и ненавидеть перестало:
Не всем такое счастье суждено!

24

Все жарче бой; главы валятся
Под взмахом княжеской руки;
Спасая дни свои, теснятся,
Бегут в расстройстве казаки!
Как злые духи, горцы мчатся
С победным воем им вослед,
И никому пощады нет!
Но что ж? победа изменила!
Раздался вдруг нежданный гром,
Все в дыме скрылося густом,
И пред глазами Измаила
На землю с бешеных коней
Кровавой грудою костей
Свалился ряд его друзей.
Как град посыпалась картеча;
Пальбу услышав издалеча,
Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки.
Навстречу гибельному строю
Один, с отчаянной душою,
Хотел пуститься Измаил;
Но за повод коня схватил
Черкес и в горы за собою,

Как ни противился седок,
Коня могучего увлек.
И ни малейшего движенья
Среди всеобщего смятенья
Не упустил младой Селим;
Он бегство князя примечает!
Удар судьбы благословляет
И быстро следует за ним.
Не стыд — но горькая досада
Героя медленно грызет:
Жизнь побежденным не награда!
Он на друзей не кинул взгляда
И, мнится, их не узнает.

25

Чем реже нас балует счастье,
Тем слаще предаваться нам
Предположеньям и мечтам.
Родится ль тайное пристрастье
К другому миру, хоть и там
Судьбы приметно самовластье,
Мы всё свободнее дарим
Ему надежды и желанья;
И украшаем, как хотим,
Свои воздушные созданья!
Когда забота и печаль
Покой душевный возмущают,
Мы забываем свет, и вдаль
Душа и мысли улетают,
И ловят сны, в которых нет
Следов и теней прежних лет.
Но ум, сомненьем охлажденный
И спорить с роком приученный,
Не усладить, не позабыть
Свои страдания желает;
И если иногда мечтает,
То он мечтает победить!
И, зная собственную силу,
Пока не сбросит прах в могилу,
Он не оставит гордых дум...
Такой непобедимый ум
Природой дан был Измаилу!

26

Он ранен, кровь его течет;
А он не чувствует, не слышит;
В опасный путь его несет
Ретивый конь, храпит и пышет!
Один Селим не отстает.
За гриву ухватясь руками,
Едва сидит он на седле;
Боязни бледность на челе;
Он очи, полные слезами,
Порой кидает на того,
Кто всё на свете для него,
Кому надежду жизни милой
Готов он в жертву принести,
И чье последнее «прости»
Его бы с жизнью разлучило!
Будь перед миром он злодей,
Что для любви слова людей?
Что ей небес определенье?
Нет! охладить любовь гоненье
Еще ни разу не могло;
Она сама свое добро и зло!

27

Умолк докучный крик погони;
Дымясь и в пене скачут кони
Между провалом и горой,
Кремнистой, тесною тропой;
Они дорогу знают сами
И презирают седока,
И бесполезная рука
Уж не владеет поводами.
Направо темные кусты
Висят, за шапки задевая,
И с неприступной высоты
На новых путников взирая;
Чернеет серна молодая;
Налево — пропасть; по краям
Ряд красных камней, здесь и там
Всегда обрушиться готовый.
Никем не ведомый поток
Внизу, свиреп и одинок,
Как тигр Америки суровой,

Бежит гремучею волной;
То блещет бахромой перловой,
То изумрудною каймой;
Как две семьи — враждебный гений,
Два гребня разделяет он.
Вдали на синий небосклон
Нагих, бесплодных гор ступени
Ведут желание и взгляд
Сквозь облака, которых тени
По ним мелькают и спешат;
Сменяя в зависти друг друга,
Они бегут вперед, назад.
И мнится, что под солнцем юга
В них страсти южные кипят!

28

Уж полдень. Измаил слабеет;
Пылает солнце высоко.
Но есть надежда! дым синеет,
Родной аул недалеко...
Там, где кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом.
Оттуда кровы земляные,
Мечеть, белеющий забор,
Аргуны воды голубые,
Как под ногами, встретит взор!
Достигнут поворот желанный;
Вот и венец горы туманной;
Вот слышен речки рев глухой;
И белый конь сильней рванулся...
Но вдруг переднею ногой
Он оступился, спотыкнулся
И на скаку, между камней,
Упал всей тягостью своей.

29

И всадник, кровью истекая,
Лежал без чувства на земле;
В устах недвижность гробовая,
И бледность муки на челе;

Казалось, час его кончины
Ждал знак условный в небесах,
Чтобы слететь, и в миг единый
Из человека сделать — прах!
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
Нет! нет! ведь здесь еще Селим...
Склонясь в отчаянье над ним,
Как в бурю ива молодая
Над падшим гнется алтарем,
Снимал он панцирь и шелом;
Но сердце к сердцу прижимая,
Не слышит жизни ни в одном!
И если б страшное мгновенье
Все мысли не убило в нем,
Судиться стал бы он с творцом
И проклинал бы провиденье!..

30

Встает, глядит кругом Селим:
Все неподвижно перед ним!
Зовет — и тучка дождевая
Летит на зов его одна,
По ветру крылья простирая,
Как смерть, темна и холодна.
Вот наконец сырым покровом
Одела путников она,
И юноша в испуге новом!
Прижавшись к другу с быстротой:
«О, пощади его!.. постой! —
Воскликнул он,— я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю так страстно,
Кого слабей нельзя любить!
Ступай! Ищи других по свету...
Все жертвы бога твоего!
Ужель меня несчастней нету?
И нет виновнее его?»

31

Меж тем, подобно дымной тени,
Хотя не понял он молений,
Угрюмый облак пролетел.
Когда ж Селим взглянуть посмел,
Он был далеко! Освеженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся бледный Измаил,
Вздохнул, потом глаза открыл.
Он слаб: другую ищет руку
Его дрожащая рука;
И каждому внимая звуку,
Он пьет дыханье ветерка,
И все, что близко, отдаленно,
Пред ним яснеет постепенно...
Где ж друг последний? Где Селим?
Глядит — и что же перед ним?
Глядит — уста оледенели,
И мысли зреньем овладели...
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!

32

Селим... и кто теперь не отгадает?
На нем мохнатой шапки больше нет,
Раскрылась грудь; на шелковый бешмет
Волна кудрей, чернея, ниспадает,
В печали женщин лучший их убор!
Молитва стихла на устах!.. а взор...
О небо! небо! есть ли в кущах рая
Глаза, где слезы, робость и печаль
Оставить страшно, уничтожить жаль?
Скажи мне, есть ли Зара молодая
Меж дев твоих? и плачет ли она,
И любит ли? но понял я молчанье!
Не встретить мне подобное созданье:
На небе неуместно подражанье,
А Зара на земле была одна.

33

Узнал, узнал он образ позабытый
Среди душевных бурь и бурь войны;

Поцеловал он нежные ланиты —
И краски жизни им возвращены.
Она чело на грудь ему склонила,
Смущают Зару ласки Измаила,
Но сердцу как ума не соблазнить?
И как любви стыда не победить?
Их речи — пламень! вечная пустыня
Восторгом и блаженством их полна.
Любовь для неба и земли святыня,
И только для людей порок она!
Во всей природе дышит сладострастье;
И только люди покупают счастье!

*

Прошло два года, все кипит война;
Бесплодного Кавказа племена
Питаются разбоем и обманом,
И в знойный день и под ночным туманом
Отважность их для русского страшна.
Казалося, двух братьев помирила
Слепая месть и к родине любовь;
Везде, где враг бежит и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селим
Теперь уже не следуют за ним?
Куда лезгинка нежная сокрылась?
Какой удар ту грудь оледенил,
Где для любви такое сердце билось,
Каким владеть он не достоин был?
Измена ли причина их разлуки?
Жива ль она, иль спит последним сном?
Родные ль в гроб ее сложили руки?
Последнее «прости» с слезами муки
Сказали ль ей на языке родном?
И если смерть щадит ее поныне —
Между каких людей, в какой пустыне?
Кто б Измаила смел спросить о том?

Однажды, в час, когда лучи заката
По облакам кидали искры злата,
Задумчив на кургане Измаил
Сидел: еще ребенком он любил
Природы дикой пышные картины,
Разлив зари и льдистые вершины,

Блестящие на небе голубом;
Не изменилось только это в нем!
Четыре горца близ него стояли
И мысли по лицу узнать желали;
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска,— но нет страстей?
О чем бы он ни думал,— Запад дальный
Не привлекал мечты его печальной;
Другие вспоминанья и другой,
Другой предмет владел его душой.

Но что за выстрел? — дым взвился,
белея.
Верна рука, и верен глаз злодея!
С свинцом в груди, простертый на земле,
С печатью смерти на крутом челе,
Друзьями окружен, любимец брани
Лежал, навеки нем для их призваний!
Последний луч зари еще играл
На пасмурных чертах и придавал
Его лицу румянец; и казалось,
Что в нем от жизни что-то оставалось,
Что мысль, которой угнетен был ум,
Последняя его тяжелых дум,
Когда душа отторгнулась от тела,
Его лица оставить не успела!
Небесный суд да будет над тобой,
Жестокий брат, завистник вероломный!
Ты сам наметил выстрел роковой,
Ты не нашел в горах руки наемной!

Гремучий ключ катился невдали.
К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою;
И грудь обмыть они уже хотят...
Но почему их омрачился взгляд?
Чего они так явно ужаснулись?
Зачем, вскочив, так хладно отвернулись?
Зачем? — какой-то локон золотой
(Конечно, талисман земли чужой),
Под грубою одеждою измятой,
И белый крест на ленте полосатой
Блистали на груди у мертвеца!..
«И кто бы отгадал? Джяур проклятый!
Нет, ты не стоил лучшего конца;

Нет, мусульманин, верный Измаилу,
Отступнику не выроет могилу!
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть, не оплакан, он сгниет бесславно,
Пусть кончит жизнь, как начал — одинок».

Маскарад

Драма в 4-х действиях, в стихах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Арбенин, Евгений Александрович.
Нина, жена его.
Князь Звездич.
Баронесса Штраль.
Казарин, Афанасий Павлович.
Шприх, Адам Петрович.
Маска.
Чиновник.
Игроки.
Гости.
Слуги и служанки.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Игроки, князь Звездич, Казарин и Шприх. За столом мечут банк и понтируют... Кругом стоят.

1-й понтер

Иван Ильич, позвольте мне поставить.

Банкомет

Извольте.

1-й понтер

Сто рублей.

Банкомет

Идет.

2-й понтер

Ну, добрый путь.

3-й понтер

Вам надо счастие поправить,
А семпелями плохо...

4-й понтер

Надо гнуть.

3-й понтер

Пусти.

2-й понтер

На всё?.. нет, жжется!

4-й понтер

Послушай, милый друг, кто нынече не гнется,
Ни до чего тот не добьется.

3-й понтер

(тихо первому)

Смотри во все глаза.

Князь Звездич

Ва-банк.

2-й понтер

Эй, князь,
Гнев только портит кровь,— играйте не сердясь.

Князь

На этот раз оставьте хоть советы.

Банкомет

Убита.

Князь

Черт возьми.

Банкомет

Позвольте получить.

2-й понтер

(насмешливо)

Я вижу, вы в пылу, готовы всё спустить.
Что стоят ваши эполеты?

Князь

Я с честью их достал,— и вам их не купить.

2-й понтер

(сквозь зубы, уходя)

Скромней бы надо быть
С таким несчастием и в ваши леты.

Князь, выпив стакан лимонаду, садится к стороне и задумывается.

Шприх

(подходит с участием)

Не нужно ль денег, князь... я тотчас помогу,
Проценты вздорные... а ждать сто лет могу.

Князь холодно кланяется и отворачивается.
Шприх с неудовольствием уходит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин и прочие.

Арбенин входит, кланяется, подходя к столу; потом делает некоторые знаки и отходит с Казариным.

Арбенин

Ну что, уж ты не мечешь?.. а, Казарин?

Казарин

Смотрю, брат, на других.
А ты, любезнейший, женат, богат,— стал барин.
И позабыл товарищей своих!

Арбенин

Да, я давно уж не был с вами.

Казарин

Делами занят все?

Арбенин

Любовью... не делами.

Казарин

С женой по балам.

Арбенин

Нет.

Казарин

Играешь?

Арбенин

Нет... утих!
Но здесь есть новые. Кто этот франтик?

Казарин

Шприх!
Адам Петрович!.. Я вас познакомлю разом.

Шприх подходит и кланяется.

Вот здесь приятель мой, рекомендую вам,
Арбенин.

Шприх

Я вас знаю.

Арбенин

Помнится, что нам
Встречаться не случалось.

Шприх

По рассказам.
И столько я о вас слыхал того-сего,
Что познакомиться давным-давно желаю.

Арбенин

Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего.
Но многое от вас, конечно, я узнаю.

Раскланиваются опять. Шприх, скорчив кислую мину, уходит.

Он мне не нравится... Видал я много рож,
А этакой не выдумать нарочно;
Улыбка злобная, глаза... стеклярус точно,
Взглянуть — не человек,— а с чертом не похож.

Казарин

Эх, братец мой — что вид наружный?
Пусть будет хоть сам черт!.. да человек он нужный,
Лишь адресуйся — одолжит.
Какой он нации, сказать не знаю смело:
На всех языках говорит,
Верней всего, что жид.
Со всеми он знаком, везде ему есть дело,
Все помнит, знает все, в заботе целый век,
Был бит не раз, с безбожником — безбожник,
С святошей — езуит, меж нами — злой картежник,
А с честными людьми — пречестный человек.
Короче, ты его полюбишь, я уверен.

Арбенин

Портрет хорош,— оригинал-то скверен!
Ну, а вон тот высокий и в усах,
И нарумяненный вдобавок?
Конечно, житель модных лавок,
Любезник отставной и был в чужих краях?
Конечно, он герой не в деле
И мастерски стреляет в цель?

Казарин

Почти... он из полка был выгнан за дуэль
Или за то, что не был на дуэли.
Боялся быть убийцей — да и мать
К тому ж строга,— потом, лет через пять,
Был вызван он опять
И тут дрался уж в самом деле.

Арбенин

А этот маленький каков?
Растрепанный, с улыбкой откровенной,
С крестом и табакеркою?..

Казарин

Трущов...
О, малый он неоцененный:
Семь лет он в Грузии служил,
Иль послан был с каким-то генералом,
Из-за угла кого-то там хватил,
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил.

Арбенин

Да вы разборчивы на новые знакомства!

Игроки

(кричат)

Казарин Афанасий Павлович, сюда!

Казарин

Иду.

(С притворным участием.)

Пример ужасный вероломства!
Ха, ха, ха, ха!

1-й понтер

Скорей.

Казарин

Какая там беда?

Живой разговор между игроками, потом успокаиваются, Арбенин замечает князя Звездича и подходит.

Арбенин

Князь, как вы здесь? ужель не в первый раз?

Князь

(недовольно)

Я то же самое хотел спросить у вас.

Арбенин

Я ваш ответ предупрежду, пожалуй:
Я здесь давно знаком; и часто здесь, бывало,
Смотрел с волнением немым,
Как колесо вертелось счастья.
Один был вознесен, другой раздавлен им,
Я не завидовал, но и не знал участья:
Видал я много юношей, надежд
И чувства полных, счастливых невежд
В науке жизни... пламенных душою,
Которых прежде цель была одна любовь...
Они погибли быстро предо мною,
И вот мне суждено увидеть это вновь.

Князь

(с чувством берет его за руку)

Я проигрался.

Арбенин

Вижу. Что ж? топиться!..

Князь

О! я в отчаянье.

Арбенин

Два средства только есть:
Дать клятву за игру вовеки не садиться
Или опять сейчас же сесть.
Но чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь,
Вам надо испытать, ощупать беспристрастно
Свои способности и душу: по частям
Их разобрать; привыкнуть ясно
Читать на лицах чуть знакомых вам
Все побужденья, мысли; годы
Употребить на упражненье рук,
Все презирать: закон людей, закон природы.
День думать, ночь играть, от мук не знать свободы,
И чтоб никто не понял ваших мук.
Не трепетать, когда близ вас искусством равный,
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
«Подлец!»

Молчание. Князь едва его слушал и был в волнении.

Князь

Не знаю, как мне быть, что делать?

Арбенин

Что хотите.

Князь

Быть может, счастие...

Арбенин

О, счастия здесь нет!

Князь

Я всё ведь проиграл!.. Ах, дайте мне совет.

Арбенин

Советов не даю.

Князь

Ну, сяду...

Арбенин

(вдруг берет его за руку)

Погодите.
Я сяду вместо вас. Вы молоды,— я был
Неопытен когда-то и моложе,
Как вы, заносчив, опрометчив тоже,
И если б... *(останавливается)* кто-нибудь меня
остановил...
То...

(Смотрит на него пристально.)
(Переменив тон.)

Дайте мне на счастье руку смело,
А остальное уж не ваше дело!

(Подходит к столу; ему дают место.)

Не откажите инвалиду;
Хочу я испытать, что скажет мне судьба
И даст ли нынешним поклонникам в обиду
Она старинного раба!

Казарин

Не вытерпел... зажглося ретивое.

(Тихо.)

Ну, не ударься в грязь лицом
И докажи им, что такое
Возиться с прежним игроком.

Игроки

Извольте, вам и книги в руки,— вы хозяин,
Мы гости.

1-й понтер

(на ухо второму)

Берегись — имей теперь глаза!..
Не по нутру мне этот Ванька Каин,
И притузит он моего туза.

Игра начинается; все толпятся вокруг стола, иногда разные возгласы, в продолжение следующего разговора многие мрачно отходят от стола. Шприх отводит на авансцену Казарина.

Шприх

(лукаво)

Столпились в кучку все, кажись, нашла гроза.

Казарин

Задаст он им на месяц страху!

Шприх

Видно,
Что мастер.

Казарин

Был.

Шприх

Был? А теперь...

Казарин

Теперь?
Женился и богат, стал человек солидный,
Глядит ягненочком,— а право, тот же зверь...
Мне скажут: можно отучиться,
Натуру победить. Дурак, кто говорит;
Пусть ангелом и притворится,
Да черт-то все в душе сидит.
И ты, мой друг,

(ударив по плечу)

хоть перед ним ребенок,
А и в тебе сидит чертенок.

Два игрока в живом разговоре подходят.

1-й игрок

Я говорил тебе.

2-й игрок

Что делать, брат,
Нашла коса на камень, видно.
Я ль не хитрил,— нет, всех как на подряд.
Подумать стыдно...

Казарин

(подходит)

Что, господа, иль не под силу? а?

1-й игрок

Арбенин ваш мастак.

Казарин

И, что вы, господа!

Волнение у стола между игроками.

3-й понтер

Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто.

4-й понтер

(в сторону)

Обрежется...

5-й понтер

Посмотрим.

Арбенин

(встает)

Баста.

Берет золото и отходит, другие остаются у стола; Казарин и Шприх также у стола. Арбенин молча берет за руку князя и отдает ему деньги; Арбенин бледен.

Князь

Ах, никогда мне это не забыть...
Вы жизнь мою спасли...

Арбенин

И деньги ваши тоже.

(Горько.)

А право, трудно разрешить,
Которое из этих двух дороже.

Князь

Большую жертву вы мне сделали.

Арбенин

Ничуть.
Я рад был случаю, чтоб кровь привесть в волненье,
Тревогою опять наполнить ум и грудь;
Я сел играть — как вы пошли бы на сраженье.

Князь

Но проиграться вы могли.

Арбенин

Я... нет!.. те дни блаженные прошли.
Я вижу все насквозь... все тонкости их знаю,
И вот зачем я нынче не играю.

Князь

Вы избегаете признательность мою.

Арбенин

По чести вам сказать, ее я не терплю.
Ни в чем и никому я не был в жизнь обязан,
И если я кому платил добром,
То все не потому, чтоб был к нему привязан;
А — просто — видел пользу в том.

Князь

Я вам не верю.

Арбенин

Кто велит вам верить!
Я к этому привык с давнишних пор.
И если бы не лень, то стал бы лицемерить...
Но кончим этот разговор...

(Помолчав.)

Рассеяться б и вам и мне не худо.
Ведь нынче праздники и, верно, маскерад
У Энгельгардта...

Князь

Да.

Арбенин

Поедемте?

Князь

Я рад.

Арбенин

(в сторону)

В толпе я отдохну.

Князь

Там женщины есть... чудо...
И даже там бывают, говорят...

Арбенин

Пусть говорят, а нам какое дело?
Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет,— есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.

Уходят.

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Те же, кроме Арбенина и князя Звездича.

1-й игрок

Забастовал он кстати... с ним беда...

2-й игрок

Хотя б опомниться он дал, по крайней мере.

Слуга

(входит)

Готово ужинать...

Хозяин

Пойдемте, господа,
Шампанское утешит вас в погере.

Уходят.

Шприх

(один)

С Арбениным сойтиться я хочу...

И даром ужинать желаю.

(Приставив палец ко лбу.)

Отужинаю здесь... кой-что еще узнаю
И в маскерад за ними полечу.

(Уходит и рассуждает сам с собою.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Маскерад.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Маски, Арбенин, потом князь Звездич. Толпа проходит взад и вперед по сцене; налево канапе.

Арбенин

(входит)

Напрасно я ищу повсюду развлеченья.
Пестреет и жужжит толпа передо мной...
Но сердце холодно, и спит воображенье:
Они все чужды мне, и я им всем чужой!

Князь подходит, зевая.

Вот нынешнее поколенье.
И то ль я был в его лета, как погляжу?
Что, князь?.. не набрели еще на приключенье?

Князь

Как быть, а целый час хожу!

Арбенин

А! вы желаете, чтоб счастье вас ловило.
Затея новая... пустить бы надо в свет.

Князь

Всё маски глупые...

Арбенин

Да маски глупой нет:
Молчит... таинственна, заговорит... так мило.
Вы можете придать ее словам
Улыбку, взор, какие вам угодно...
Вот, например, взгляните там —
Как выступает благородно
Высокая турчанка... как полна,
Как дышит грудь ее и страстно и свободно!
Вы знаете ли, кто она?
Быть может, гордая графиня иль княжна,
Диана в обществе... Венера в маскераде,
И также может быть, что эта же краса
К вам завтра вечером придет на полчаса.
В обоих случаях вы, право, не внакладе.

(Уходит.)

ВЫХОД ВТОРОЙ

Князь и женская маска.

Одно домино подходит и останавливается. Князь стоит в задумчивости.

Князь

Всё так,— рассказывать легко...
Однако же я все еще зеваю...
Но вот идет одна... дай господи!

Одна маска отделяется и, ударив его по плечу:

Маска

Я знаю...
Тебя!

Князь

И, видно, очень коротко.

Маска

О чем ты размышлял,— и это мне известно.

Князь

А в этом случае ты счастливей меня.

(Заглядывает под маску.)

Но если не ошибся я,
То ротик у нее прелестный.

Маска

Я нравлюся тебе, тем хуже.

Князь

Для кого?

Маска

Для одного из нас.

Князь

Не вижу отчего?..
Ты предсказанием меня не испугаешь,
И я хоть очень не хитер,
Но узнаю, кто ты...

Маска

Так, стало быть, ты знаешь,
Чем кончится наш разговор?..

Князь

Поговорим и разойдемся.

Маска

Право?

Князь

Налево ты, а я направо...

Маска

Но ежели я здесь, нарочно с целью той —
Чтоб видеться и говорить с тобой;
Но если я скажу, что через час ты будешь
Мне клясться, что вовек меня не позабудешь,
Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг,
Когда я улечу, как призрак, без названья,
Чтоб услыхать из уст моих
Одно лишь слово: до свиданья!..

Князь

Ты маска умная, а тратишь много слов!
Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков?

Маска

Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек;
В тебе одном весь отразился век,
Век нынешний, блестящий, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей.
Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь;
Людей без гордости и сердца презираешь,
А сам игрушка тех людей.
О! знаю я тебя...

Князь

Мне это очень лестно.

Маска

Ты сделал много зла.

Князь

Невольно, может быть.

Маска

Кто знает! Только мне известно,
Что женщине тебя не надобно любить.

Князь

Я не ищу любви.

Маска

Искать ты не умеешь.

Князь

Скорей устал искать.

Маска

Но если пред тобой
Она появится и скажет вдруг: ты мой!
Ужель бесчувственным остаться ты посмеешь?

Князь

Но кто ж она?.. конечно, идеал.

Маска

Нет, женщина... а дальше что за дело.

Князь

Но покажи ее, пусть явится мне смело.

Маска

Ты хочешь многого — обдумай, что сказал!

Некоторое молчание.

Она не требует ни вздохов, ни признанья,
Ни слез, ни просьб, ни пламенных речей...
. . . . . .
Но клятву дай оставить все старанья
Разведать — кто она... и обо всем
Молчать...

Князь

Клянусь землей и небесами
И честию моей.

Маска

Смотри ж, теперь пойдем!
И помни, шуток нет меж нами...

(Уходят под руки.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и две маски.

Арбенин тащит за руку мужскую маску.

Арбенин

Вы мне вещей наговорили
Таких, сударь, которых честь
Не позволяет перенесть...
Вы знаете ль, кто я?..

Маска

Я знаю, кто вы были.

Арбенин

Снимите маску — и сейчас!
Вы поступаете бесчестно.

Маска

К чему! мое лицо вам так же неизвестно,
Как маска,— и я сам вас вижу в первый раз.

Арбенин

Не верю! Что-то слишком вы меня боитесь,
Сердиться стыдно мне. Вы трус; подите прочь.

Маска

Прощайте же, но берегитесь.
Несчастье с вами будет в эту ночь.

(Исчезает в толпе.)

Арбенин

Постой... пропал... кто ж он? Вот дал мне бог заботу.
Трусливый враг какой-нибудь,
А им ведь у меня нет счету,
Ха, ха, ха, ха! прощай, приятель, добрый путь...

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Шприх и Арбенин.

Шприх является.

На канапе сидят две женские маски, кто-то подходит и интригует, берет за руку... одна вырывается и уходит, браслет спадает с руки.

Шприх

Кого вы так безжалостно тащили,
Евгений Александрыч?..

Арбенин

Так, шутил
С приятелем.

Шприх

Конечно, подшутили
Вы не на шутку с ним. Он шел и вас бранил.

Арбенин

Кому?

Шприх

Какой-то маске.

Арбенин

Слух завидный
У вас.

Шприх

Я слышу все и обо всем молчу
И не в свои дела не суюсь...

Арбенин

Это видно.
Так, стало быть, не знаете... ну как не стыдно!
Об этом...

Шприх

Об чем это-с?

Арбенин

Да нет, я так, шучу...

Шприх

Скажите!..

Арбенин

Говорят, у вас жена красотка...

Шприх

Ну-с, что ж?

Арбенин

(переменив тон)

А ездит к вам тот смуглый и в усах?

(Насвистывает песню и уходит.)

Шприх

(один)

Чтоб у тебя засохла глотка...
Смеешься надо мной... так будешь сам в рогах.

(Теряется в толпе.)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

1-я маска, одна.

1-я маска входит быстро в волнении и падает на канапе.

1-я маска

Ах!.. я едва дышу... он все бежал за мною,
Что, если бы он сóрвал маску... нет,
Он не узнал меня... да и какой судьбою
Подозревать, что женщина, которой свет
Дивится с завистью, в пылу самозабвенья
К нему на шею кинется, моля
Дать ей два сладкие мгновенья,
Не требуя любви — но только сожаленья,
И дерзко скажет — я твоя!..
Он этой тайны вечно не узнает...
Пускай... я не хочу... но он желает
На память у меня какой-нибудь предмет,
Кольцо... что делать... риск ужасный!

(Видит на земле браслет и поднимает.)

Вот счастье. Боже мой — потерянный браслет
С эмалью, золотой... отдам ему, прекрасно...
Пусть ищет с ним меня.

ВЫХОД ШЕСТОЙ

1-я маска и князь Звездич.

Князь с лорнетом торопливо продирается.

Князь

Так точно... вот она.
Меж тысячи других теперь ее узнаю.
(Садится на канапе и берет ее за руку.)
О! ты не убежишь.

Маска

Я вас не убегаю.

Чего хотите вы?

Князь

Вас видеть.

Маска

Мысль смешна!
Я перед вами...

Князь

Это шутка злая!
Но цель твоя шутить, а цель моя другая...
И если мне небесные черты
Сейчас же не откроешь ты —
То я сорву коварную личину;
Я силою...

Маска

Поймите же мужчину!..
Вы недовольны... мало вам того,
Что я люблю вас... нет! вам хочется всего;
Вам надо честь мою на поруганье,
Чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье,
Могли бы вы со смехом рассказать
Друзьям смешное приключенье
И, разрешая их сомненья,
Примолвить: вот она... и пальцем указать.

Князь

Я вспомню голос твой.

Маска

Пожалуй,— вот уж чудо!
Сто женщин говорят все голосом таким;
Вас пристыдят — лишь адресуйтесь к ним,
И это было бы не худо!

Князь

Но счастие мое неполно.

Маска

А как знать...
Вы, может быть, должны судьбу благословлять
За то, что маску не хочу я снять.
Быть может, я стара, дурна... какую мину
Вы сделали бы мне.

Князь

Ты хочешь испугать,
Но, зная прелестей твоих лишь половину,
Как остальных не отгадать.

Маска

(хочет идти)

Прощай навеки!..

Князь

О! еще мгновенье!
Ты ничего на память не оставишь? Нет
В тебе к безумцу сожаленья?

Маска

(отойдя два шага)

Вы правы, жаль мне вас — возьмите мой браслет.
(Бросает браслет на пол, пока он его поднимает, она скрывается в толпе.)

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

Князь, потом Арбенин.

Князь

(Он ищет ее глазами напрасно.)
Я в дураках... есть от чего рассудка
Лишиться...

(Увидев Арбенина.)

А!

Арбенин

(идет задумчив)

Кто этот злой пророк...
Он должен знать меня... и вряд ли это шутка.

Князь

(подходя)

Мне в пользу послужил ваш давешний урок.

Арбенин

Душевно радуюсь.

Князь

Но счастье налетело
Само собой.

Арбенин

Да, счастье — вечно так.

Князь

Лишь только я схватил и думал: кончил дело,
Как вдруг...

(дует на ладонь)

Теперь себя могу уверить смело,
Что если все не сон, так я большой дурак.

Арбенин

Не знаю ничего и потому не спорю.

Князь

Да вы всё шутите, помочь нельзя ли горю?
Я все вам расскажу.

(Несколько слов на ухо.)

Как я был удивлен!
Плутовка вырвалась — и вот

(показывает браслет)

как будто сон.
Конец прежалобный.

Арбенин

(улыбаясь)

А начали не худо!..
Но покажите-ка... браслет довольно мил,
И где-то я видал такой же... погодите.
Да нет, не может быть... забыл.

Князь

Где отыскать ее...

Арбенин

Любую подцепите;
Здесь много их — искать недалеко!

Князь

Но если не она?

Арбенин

А может быть, легко,
Но что же за беда?.. Вообразите...

Князь

Нет, я ее сыщу на дне морском, браслет
Поможет мне.

Арбенин

Ну, сделаем два тура,—
Но ежели она не вовсе дура,
То здесь ее давно простыл и след.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Евгений Арбенин входит; слуга.

Арбенин

Ну, вот и вечер кончен — как я рад.
Пора хотя на миг забыться,
Весь этот пестрый сброд — весь этот маскерад
Еще в уме моем кружится.
И что же я там делал, не смешно ль!..
Давал любовнику советы,
Догадки поверял, сличал браслеты...
И за других мечтал, как делают поэты...
Ей-богу, мне такая роль
Уж не под леты!

(Слуге.)

Что, барыня приехала домой?

Слуга

Нет-с.

Арбенин

А когда же будет?

Слуга

Обещалась
В двенадцатом часу.

Арбенин

Теперь уж час второй,—
Не ночевать же там она осталась!

Слуга

Не знаю-с.

Арбенин

Будто бы? Иди — свечу
Поставь на стол, как будет нужно, я вскричу.

Слуга уходит; он садится в кресла.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин

(один)

Бог справедлив! и я теперь едва ли
Не осужден нести печали
За все грехи минувших дней.
Бывало, так меня чужие жены ждали,
Теперь я жду жены своей...
В кругу обманщиц милых я напрасно
И глупо юность погубил;
Любим был часто пламенно и страстно,
И ни одну из них я не любил.
Романа не начав, я знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
И тяжко стало мне, и скучно жить!
И кто-то подал мне тогда совет лукавый
Жениться... чтоб иметь святое право
Уж ровно никого на свете не любить;
И я нашел жену, покорное созданье,
Она была прекрасна и нежна,
Как агнец божий на закланье,
Мной к алтарю она приведена...
И вдруг во мне забытый звук проснулся:
Я в душу мертвую свою
Взглянул... и увидал, что я ее люблю;
И, стыдно молвить... ужаснулся!..
Опять мечты, опять любовь
В пустой груди бушуют на просторе;
Изломанный челнок, я снова брошен в море:
Вернусь ли к пристани я вновь?

(Задумывается.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и Нина.

Нина входит на цыпочках и целует его в лоб сзади.

Арбенин

Ах, здравствуй, Нина... наконец!
Давно пора.

Нина

Неужели так поздно?

Арбенин

Я жду тебя уж целый час.

Нина

Серьезно?
Ах, как ты мил!

Арбенин

А думаешь... глупец?..
Он ждет себе... а я...

Нина

Ах, мой творец!..
Да ты всегда не в духе, смотришь грозно,
И на тебя ничем не угодишь.
Скучаешь ты со мною розно,
А встретимся, ворчишь!..
Скажи мне просто: Нина,
Кинь свет, я буду жить с тобой
И для тебя; зачем другой мужчина,
Какой-нибудь бездушный и пустой,
Бульварный франт, затянутый в корсете,
С утра до вечера тебя встречает в свете,
А я лишь час какой-нибудь на дню
Могу сказать тебе два слова?
Скажи мне это... я готова,
В деревне молодость свою я схороню,

Оставлю балы, пышность, моду
И эту скучную свободу.
Скажи лишь просто мне, как другу... Но к чему
Меня воображение умчало...
Положим, ты меня и любишь, но так мало,
Что даже не ревнуешь ни к кому!

Арбенин

(улыбаясь)

Как быть? Я жить привык беспечно,
И ревновать смешно...

Нина

Конечно.

Арбенин

Ты сердишься?

Нина

Нет, я благодарю.

Арбенин

Ты опечалилась.

Нина

Я только говорю,
Что ты меня не любишь.

Арбенин

Нина?

Нина

Что вы?

Арбенин

Послушай... нас одной судьбы оковы
Связали навсегда... ошибкой, может быть;
Не мне и не тебе судить.

(Привлекает к себе на колена и целует.)

Ты молода летами и душою,
В огромной книге жизни ты прочла
Один заглавный лист, и пред тобою
Открыто море счастия и зла.
Иди любой дорогой,
Надейся и мечтай — вдали надежды много,
А в прошлом жизнь твоя бела!
Ни сердца своего, ни моего не зная,
Ты отдалася мне — и любишь, верю я,
Но безотчетно, чувствами играя,
И резвясь, как дитя.
Но я люблю иначе: я все видел,
Все перечувствовал, все понял, все узнал,
Любил я часто, чаще ненавидел,
И более всего страдал!
Сначала все хотел, потом все презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.
На жизни я своей узнал печать проклятья,
И холодно закрыл объятья
Для чувств и счастия земли...
Так годы многие прошли.
О днях, отравленных волненьем
Порочной юности моей,
С каким глубоким отвращеньем
Я мыслю на груди твоей.
Так, прежде я тебе цены не знал, несчастный!
Но скоро черствая кора
С моей души слетела, мир прекрасный
Моим глазам открылся не напрасно,
И я воскрес для жизни и добра.
Но иногда опять какой-то дух враждебный
Меня уносит в бурю прежних дней,
Стирает с памяти моей
Твой светлый взор и голос твой волшебный.
В борьбе с собой, под грузом тяжких дум,
Я молчалив, суров, угрюм.
Боюся осквернить тебя прикосновеньем,
Боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон,
Ни звук, исторгнутый мученьем.
Тогда ты говоришь: меня не любит он!

Она ласково смотрит на него и проводит по волосам.

Нина

Ты странный человек!.. когда красноречиво
Ты про любовь свою рассказываешь мне,
И голова твоя в огне,
И мысль твоя в глазах сияет живо,
Тогда всему я верю без труда;
Но часто...

Арбенин

Часто?

Нина

Нет, но иногда!..

Арбенин

Я сердцем слишком стар, ты слишком молода,
Но чувствовать могли б мы ровно.
И помнится, в твои года
Всему я верил безусловно.

Нина

Опять ты недоволен... Боже мой!

Арбенин

О нет... я счастлив, счастлив... я жестокой,
Безумный клеветник; далеко,
Далеко от толпы завистливой и злой,
Я счастлив... я с тобой!
Оставим прежнее! забвенье
Тяжелой, черной старине!
Я вижу, что творец тебя в вознагражденье
С своих небес послал ко мне.

(Целует ее руки и вдруг на одной не видит браслета, останавливается и бледнеет.)

Нина

Ты побледнел, дрожишь... о, боже!

Арбенин

(вскакивает)

Я? ничего! где твой другой браслет?

Нина

Потерян.

Арбенин

А! потерян.

Нина

Что же?
Беды великой в этом нет.
Он двадцати пяти рублей, конечно, не дороже.

Арбенин

(про себя)

Потерян... Отчего я этим так смущен,
Какое странное мне шепчет подозренье!
Ужель то было только сон,
А это пробужденье!..

Нина

Тебя понять я, право, не могу.

Арбенин

(пронзительно на нее смотрит, сложив руки)

Браслет потерян?

Нина

(обидясь)

Нет, я лгу!

Арбенин

(про себя)

Но сходство, сходство!

Нина

Верно, уронила
В карете я его,— велите обыскать;
Конечно б, я его не смела взять,
Когда б вообразила...

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и слуга.

Арбенин

(звонит, слуга входит)

(Слуге.)

Карету обыщи ты вдоль и поперек —
Потерян там браслет... Избави бог
Тебе вернуться без него!

(Ей.)

О чести,
О счастии моем тут речь идет.

Слуга уходит.

(После паузы, ей.)

Но если он и там браслета не найдет?

Нина

Так, стало быть, в другом он месте.

Арбенин

В другом? и где — ты знаешь?

Нина

В первый раз
Так скупы вы и так суровы;
И чтоб скорей утешить вас,
Я завтра ж закажу такой же точно новый.

Слуга входит.

Арбенин

Ну что?.. скорее отвечай...

Слуга

Я перешарил всю карету-с.

Арбенин

И не нашел там!

Слуга

Нету-с.

Арбенин

Я это знал... ступай.

(Значительный взгляд на нее.)

Слуга

Конечно, в маскераде он потерян.

Арбенин

А!.. в маскераде!.. так вы были там?

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Прежние, кроме слуги.

Арбенин

(слуге)

Иди.

(Ей.)

Что стоило бы вам
Сказать об этом прежде. Я уверен,
Что мне тогда иметь позволили бы честь
Вас проводить туда и вас домой отвезть.

Я б вам не помешал ни строгим наблюденьем,
Ни пошлой нежностью своей...
С кем были вы?

Нина

Спросите у людей;
Они вам скажут всё, и даже с прибавленьем.
Они по пунктам объяснят:
Кто был там, с кем я говорила,
Кому браслет на память подарила.
И вы узнаете все лучше во сто крат,
Чем если б съездили вы сами в маскерад.

(Смеется.)

Смешно, смешно, ей-богу!
Не стыдно ли, не грех
Из пустяков поднять тревогу.

Арбенин

Дай бог, чтоб это был не твой последний смех!

Нина

О, если ваши продолжатся бредни,
То это, верно, не последний.

Арбенин

Кто знает, может быть...
Послушай, Нина!.. я смешон, конечно,
Тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно,
Как только может человек любить.
И что за диво? у других на свете
Надежд и целей миллион,
У одного богатство есть в предмете,
Другой в науки погружен,
Тот добивается чинов, крестов — иль славы,
Тот любит общество, забавы,
Тот странствует, тому игра волнует кровь...
Я странствовал, играл, был ветрен и трудился,
Постиг друзей, коварную любовь,
Чинов я не хотел, а славы не добился.
Богат и без гроша был скукою томим.

Везде я видел зло и, гордый, перед ним
Нигде не преклонился.
Все, что осталось мне от жизни, это ты:
Созданье слабое, но ангел красоты:
Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье...
Я человек: пока они мои,
Без них нет у меня ни счастья, ни души,
Ни чувства, ни существованья!
Но если я обманут... если я
Обманут... если на груди моей змея
Так много дней была согрета,— если точно
Я правду отгадал... и, лаской усыплен,
С другим осмеян был заочно!
Послушай, Нина... я рожден
С душой кипучею, как лава,
Покуда не растопится, тверда
Она, как камень... но плоха забава
С ее потоком встретиться! тогда,
Тогда не ожидай прощенья —
Закона я на месть свою не призову,
Но сам, без слез и сожаленья,
Две наши жизни разорву!

(Хочет взять ее за руку; она отскакивает в сторону.)

Нина

Не подходи... о, как ты страшен!

Арбенин

Неужели?..
Я страшен? нет, ты шутишь, я смешон!
Да смейтесь, смейтесь же... зачем, достигнув цели,
Бледнеть и трепетать? скорее, где же он,
Любовник пламенный, игрушка маскерада;
Пускай потешится, придет.
Вы дали мне вкусить почти все муки ада —
И этой лишь недостает.

Нина

Так вот какое подозренье!
И этому всему виной один браслет;
Поверьте, ваше поведенье
Не я одна, но осмеет весь свет!

Арбенин

Да! смейтесь надо мной, вы, все глупцы земные,
Беспечные, но жалкие мужья,
Которых некогда обманывал и я,
Которые меж тем живете, как святые
В раю... увы!.. но ты, мой рай,
Небесный и земной... прощай!..
Прощай, я знаю все.

(Ей.)

Прочь от меня, гиена!
И думал я, глупец, что, тронута, с тоской,
С раскаяньем во всем передо мной
Она откроется... упавши на колена?
Да, я б смягчился, если б увидал
Одну слезу... одну... нет! смех был мне ответом.

Нина

Не знаю, кто меня оклеветал,
Но я прощаю вам; я не виновна в этом;
Жалею, хоть помочь вам не могу,
И чтоб утешить вас, конечно, не солгу.

Арбенин

О, замолчи... прошу тебя... довольно...

Нина

Но слушай... я невинна... пусть
Меня накажет бог,— послушай...

Арбенин

Наизусть

Я знаю все, что скажешь ты.

Нина

Мне больно
Твои упреки слушать... Я люблю
Тебя, Евгений.

Арбенин

Ну, по чести,
Признанье в пору...

Нина

Выслушай, молю;
О боже, но чего ж ты хочешь?

Арбенин

Мести!

Нина

Кому ж ты хочешь мстить?

Арбенин

О, час придет,
И право, мне вы надивитесь.

Нина

Не мне ль... что ж медлишь ты?

Арбенин

Геройство к вам нейдет.

Нина

(с презреньем)

Кому ж?

Арбенин

Вы за кого боитесь?

Нина

Ужели много ждет меня таких минут?
О, перестань... ты ревностью своею
Меня убьешь... Я не умею

Просить, и ты неумолим... но я и тут
Тебе прощаю.

Арбенин

Лишний труд!

Нина

Однако есть и бог... он не простит.

Арбенин

Жалею!

Она в слезах уходит.

(Один.)

Вот женщина!.. о, знаю я давно
Вас всех, все ваши ласки и упреки,
Но жалкое познанье мне дано,
И дорого плачу я за уроки!..
И то сказать, за что меня любить?
За то ль, что у меня и вид и голос грозный!..

(Подходит к двери жены и слушает.)

Что делает она: смеется, может быть!..
Нет, плачет.

(Уходя.)

Жаль, что поздно!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Баронесса сидит на креслах в усталости. Бросает книгу.

Баронесса

Подумаешь: зачем живем мы? для того ли,
Чтоб вечно угождать на чуждый нрав
И рабствовать всегда! Жорж Занд почти что прав!
Что ныне женщина? создание без воли,
Игрушка для страстей иль прихотей других!
Имея свет судьей и без защиты в свете,
Она должна таить весь пламень чувств своих
Иль удушить их в полном цвете:
Что женщина? Ее от юности самой
В продажу выгодам, как жертву, убирают,
Винят в любви к себе одной,
Любить других не позволяют.
В груди ее порой бушует страсть.
Боязнь, рассудок мысли гонит;
И если как-нибудь, забывши света власть,
Она покров с нее уронит,

Предастся чувствам всей душой —
Тогда прости и счастье и покой!
Свет тут... он тайны знать не хочет! он по виду,
По платью встретит честность и порок,—
Но не снесет приличиям обиду,
И в наказаниях жесток!..

(Хочет читать.)

Нет, не могу читать... меня смутило
Все это размышленье, я боюсь
Его как недруга... и, вспомнив то, что было,
Сама себе еще дивлюсь.

Входит Нина.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Нина

Катаюсь я в санях, и мне пришла идея
К тебе заехать, mon amour [1].

Баронесса

C'est une idée charmante, vous en avez toujours [2].

Садятся.

Ты что-то прежнего бледнее
Сегодня, несмотря на ветер и мороз,
И красные глаза — конечно, не от слез?

Нина

Я дурно ночь спала и нынче нездорова.

Баронесса

Твой доктор нехорош — возьми другого.

---

[1] Моя любовь *(франц.)*.
[2] Мысль превосходная, как и всегда у вас *(франц.)*.

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Входит князь Звездич.

Баронесса

(холодно)

Ах, князь!

Князь

Я был вчера у вас
С известием, что наш пикник расстроен.

Баронесса

Прошу садиться, князь.

Князь

Я спорил лишь сейчас,
Что огорчитесь вы,— но вид ваш так спокоен.

Баронесса

Мне, право, жаль.

Князь

А я так очень рад,
Пикников двадцать я отдам за маскерад.

Нина

Вчера вы были в маскераде?

Князь

Был.

Баронесса

А в каком наряде?

Нина

Там было много...

Князь

Да; и там
Под маской я узнал иных из наших дам.
Конечно, вы охотницы рядиться.

(Смеется.)

Баронесса

(горячо)

Я объявить вам, князь, должна,
Что эта клевета нимало не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, осмеет;
Рискнуть быть узнанной,— вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов.

Князь

Отречься не могу; стыдиться же — готов.

Входит чиновник.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и чиновник.

Баронесса

Откуда вы?

Чиновник

Сейчас лишь из правленья,
О деле вашем я пришел поговорить.

Баронесса

Его решили?

Чиновник

Нет, но скоро!.. Может быть,
Я помешал...

Баронесса

Ничуть.

(Отходит к окну и говорит.)

Князь

(в сторону)

Вот время объясненья!

(Нине.)

Я в магазине нынче видел вас.

Нина

В каком же?

Князь

В англинском.

Нина

Давно ль?

Князь

Сейчас.

Нина

Мне удивительно, что вас я не узнала.

Князь

Вы были заняты...

Нина

(скоро)

Браслет я прибирала

(вынимает из ридикюля)

Вот к этому.

Князь

Премиленький браслет.
Но где ж другой?

Нина

Потерян!

Князь

В самом деле?..

Нина

Что ж странного?

Князь

И не секрет,
Когда?

Нина

Третьего дни, вчера, на той неделе.
Зачем вам знать когда.

Князь

Я мысль свою имел,
Довольно странную, быть может.

(В сторону.)

Смущается она — вопрос ее тревожит!
Ох, эти скромницы!

(Ей.)

Я предложить хотел
Свои услуги вам... он может отыскаться.

Нина

Пожалуйста... но где?

Князь

А где ж потерян он?

Нина

Не помню.

Князь

Как-нибудь на бале?

Нина

Может статься.

Князь

Или кому-нибудь на память подарен?

Нина

Откуда вывели такое заключенье?
И подарю его кому ж?
Не мужу ль?

Князь

Будто в свете только муж —
Приятельниц у вас толпа, в том нет сомненья.
Ну пусть потерян он,— а тот,
Который вам его найдет,—
Получит ли от вас какое награжденье?

Нина

(улыбаясь)

Смотря.

Князь

Но если он
Вас любит, если в вас потерянный свой сон
Он отыскал — и за улыбку вашу, слово
Не пожалеет ничего земного!

Но если сами вы когда-нибудь
Ему решились намекнуть
О будущем блаженстве — если сами.
Не узнаны, под маскою, его
Ласкали вы любви словами...
О! но поймите же.

Нина

Из этого всего
Я то лишь поняла, что слишком вы забылись...
И нынче в первый и последний раз
Не говорить со мной прошу покорно вас.

Князь

О боже! я мечтал... ужель вы рассердились?

(Про себя.)

Ты отвертелася! добро... но будет час,
И я своей достигну цели.

Нина отходит к баронессе. Чиновник раскланивается и уходит.

Нина

Adieu, ma chére [1],— до завтра, мне пора.

Баронесса

Да подожди, mon ange [2], с тобой мы не успели
Сказать двух слов.

Целуются.

Нина

(уходя)

Я завтра жду тебя с утра.

(Уходит.)

---

[1] Прощай, дорогая *(франц.)*.
[2] Мой ангел *(франц.)*.

Баронесса

Мне день покажется длинней недели.

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Прежние, кроме Нины и чиновника.

Князь

(в сторону)

Я отомщу тебе! вот скромница нашлась,
Пожалуй, я дурак — пожалуй, отречется,
Но я узнал браслет.

Баронесса

Задумалися, князь?

Князь

Да, многое раздумать мне придется.

Баронесса

Как кажется, ваш разговор
Был оживлен,— о чем был спор?

Князь

Я утверждал, что встретил в маскераде.

Баронесса

Кого?

Князь

Ее.

Баронесса

Как, Нину?

Князь

Да!..

Я доказал ей.

Баронесса

Без стыда,
Я вижу, вы в глаза людей злословить ради.

Князь

Из странности решаюсь иногда.

Баронесса

Так пощадите хоть заочно!
К тому же доказательств нет.

Князь

Нет... только мне вчера был дан браслет.
И у нее такой же точно.

Баронесса

Вот доказательство... логический ответ!
Такие же есть в каждом магазине!

Князь

Я ныне все изъездил их
И тут уверился, что только два таких.

После молчания.

Баронесса

Я завтра ж дам совет полезный Нине:
Не доверяться болтунам.

Князь

А мне совет какой?

Баронесса

А вам?
Смелее продолжать с успехом начатое
И дорожить побольше честью дам.

Князь

За два совета вам я благодарен вдвое.

(Уходит.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Баронесса

Как честью женщины так ветрено шутить?
Откройся я ему, со мной бы было то же!
Итак, прощайте князь, не мне вас выводить
Из заблуждения: о нет, избави боже.
Одно лишь странно мне, как я найти могла
Ее браслет,— так! Нина там была —
И вот разгадка всей шарады...
Не знаю отчего, но я его люблю,
Быть может, так, от скуки, от досады,
От ревности... томлюся и горю,
И нету мне ни в чем отрады!
Мне будто слышится и смех толпы пустой,
И шепот злобных сожалений!
Нет, я себя спасу... хотя б на счет другой,
От этого стыда,— хотя б ценой мучений
Пришлося выкупить проступок новый мой!..

(Задумывается.)

Какая цепь ужасных предприятий.

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

Баронесса и Шприх.

Шприх входит, раскланивается.

Баронесса

Ах, Шприх, ты вечно кстати.

Шприх

Помилуйте — я был бы очень рад,
Когда бы мог вам быть полезен —
Покойный ваш супруг...

Баронесса

Всегда ль ты так любезен!

Шприх

Блаженной памяти барон...

Баронесса

Тому назад
Лет пять, я помню.

Шприх

Занял тысяч...

Баронесса

Знаю,
Но я тебе проценты за пять лет
Отдам сегодня же.

Шприх

Мне-с нужды в деньгах нет,
Помилуйте-с, я так, случайно вспоминаю.

Баронесса

Скажи, что нового?

Шприх

У графа одного
Наслушался — сейчас лишь вышел,
Историй в свете тьма.

Баронесса

А *ничего*
Про князя Звездича с Арбениной не слышал?

Шприх

(в недоумении)

Нет... слышал... как же... нет —
Об этом говорил и замолчал уж свет...

(В сторону.)

А что, бишь, я не помню, вот ужасно!..

Баронесса

О, если это так уж гласно,
То нечего и говорить.

Шприх

Но я б желал узнать, как вы об этом
Изволите судить.

Баронесса

Они осуждены уж светом;
А впрочем, я б могла их подарить советом —
Сказала бы ему: что женщины ценят
Настойчивость в мужчине,
Хотят, чтоб он сквозь тысячу преград
К своей стремился героине.
А ей бы пожелала я
Поменьше строгости и скромности поболе!
Прощайте, мосье Шприх, обедать ждет меня
Сестра — а то б осталась с вами доле.

(Уходя. В сторону.)

Теперь я спасена — полезный мне урок.

ВЫХОД ОСЬМОЙ

Шприх

(один)

Не беспокойтеся: я понял ваш намек
И не дождуся повторенья!
Какая быстрота ума, соображенья!

Тут есть интрига... да, вмешаюсь в эту связь —
Мне благодарен будет князь.
Я попаду к нему в агенты...
Потом сюда с рапортом прилечу,
И уж авось тогда хоть получу
Я пятилетние проценты.

СЦЕНА ВТОРАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Кабинет Арбенина.

Арбенин один, потом слуга.

Арбенин

Все ясно ревности — а доказательств нет!
Боюсь ошибки — а терпеть нет силы —
Оставить так, забыть минутный бред?
Такая жизнь страшней могилы!
Есть люди, я видал,— с душой остылой,
Они блаженствуют и мирно спят в грозу —
То жизнь завидная!

Слуга

(входит)

Ждет человек внизу.
Принес он барыне записку от княгини.

Арбенин

Да от какой?

Слуга

Не разобрал-с.

Арбенин

Записка? к Нине!..

(Идет; слуга остается.)

ВЫХОД ВТОРОЙ

Афанасий Павлович Казарин и слуга.

Слуга

Сейчас лишь барин вышел-с, подождите
Немного-с.

Казарин

Хорошо.

Слуга

Я тотчас доложу-с.

(Уходит.)

Казарин

Ждать я готов хоть год, когда хотите,
Мосье Арбенин, и дождусь.
Дела мои преплохи, так, что грустно!
Товарищ нужен мне искусный,
Недурно, если он к тому ж
Великодушен часто, кстати
Имеет тысячи три душ
И покровительство у знати.
Арбенина втянуть опять бы надо мне
В игру; он будет верен старине,
Приятеля он поддержать сумеет
И пред детьми не оробеет.
А эта молодежь
Мне просто — нож!
Толкуй им, как угодно,
Не знают ни завесть, ни в пору перестать,
Ни кстати честность показать,
Ни передернуть благородно!
Взгляните-ка, из стариков
Как многие игрой достигли до чинов,
Из грязи
Вошли со знатью в связи,
А все ведь отчего? — умели сохранять
Приличие во всем, блюсти свои законы,
Держались правил... глядь!..
При них и честь и миллионы!..

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Казарин и Шприх.

Входит Шприх.

Шприх

Ах! Афанасий Павлович,— вот чудо.
Ах, как я рад, не думал встретить вас.

Казарин

Я также. Ты с визитом?

Шприх

Да-с,
А вы?

Казарин

Я также!

Шприх

Право? А не худо,
Что мы сошлись,— о деле об одном
Поговорить мне нужно б с вами.

Казарин

Бывало, ты все занят был делами,
А делом в первый раз.

Шприх

Bon mot [1] вам нипочем,
А, право, нужное.

Казарин

Мне также очень нужно
С тобой поговорить.

---

[1] Острота *(франц.)*.

Шприх

Итак, мы сладим дружно.

Казарин

Не знаю... говори!

Шприх

Позвольте лишь спросить:
Вы слышали ль, что ваш приятель
Арбенин...

(Делает пальцами изображение рогов.)

Казарин

Что?.. не может быть.
Ты точно знаешь...

Шприх

Мой создатель!
Я сам улаживал — тому лишь пять минут;
Кому же знать?

Казарин

Бес вечно тут как тут.

Шприх

Вот видите: жена его намедни,
Не помню я, на бале, у обедни
Иль в маскераде встретилась с одним
Князьком — ему она довольно показалась,
И очень скоро князь стал счастлив и любим.
Но вдруг красотка перед ним
От прежнего чуть-чуть не отклепалась.
Взбесился князь — и полетел везде
Рассказывать — того смотри, что быть беде!
Меня просили сладить это дело...
Я принялся — и разом все поспело;
Князь обещал молчать... записку навалял,
Покорный ваш слуга слегка ее поправил
И к месту тот же час доставил.

Казарин

Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвал.

Шприх

В таких ли я делах бывал,
А обходилось без дуэли...

Казарин

И даже не был бит?

Шприх

У вас все шутка, смех...
А я всегда скажу, что жизнию без цели
Не должно рисковать.

Казарин

И в самом деле!
Такую жизнь, бесценную для всех,
Без пользы подвергать великий грех.

Шприх

Но это в сторону — ведь я об важном с вами
Хотел поговорить.

Казарин

Что ж это?

Шприх

Анекдот!
А дело вот в чем.

Казарин

Пропадай с делами,
Арбенин, кажется, идет.

Шприх

Нет никого — мне привезли недавно
От графа Врути пять борзых собак.

Казарин

Твой анекдот, ей-богу, презабавный.

Шприх

Ваш брат охотник, вот купить бы славно!

Казарин

Итак, Арбенин — как дурак...

Шприх

Послушайте.

Казарин

Попал впросак,
Обманут и осмеян явно!
Женитесь после этого.

Шприх

Ваш брат
Находке этой был бы рад.

Казарин

В женитьбе верность, счастие,— всё враки!
Эй, не женися, Шприх.

Шприх

Да я давно женат.
Послушайте, одна особенно вот клад.

Казарин

Жена?

Шприх

Собака.

Казарин

Вот дались собаки!
Послушай, мой любезный друг,
Не знаю как жену — что бог даст, неизвестно,
А ты собак не скоро сбудешь с рук.

Арбенин входит с письмом, они стояли налево у бюро, и он их не видал.

Задумчив и с письмом; узнать бы интересно.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и Арбенин.

Арбенин

(не замечая их)

О, благодарность!.. и давно ли я
Спас честь его и будущность, не зная
Почти, кто он таков,— и что же — о! змея!
Неслыханная низость!.. он, играя,
Как вор вторгается в мой дом,
Покрыл меня позором и стыдом!..
И я глазам не верил, забывая
Весь горький опыт многих дней.
Я, как дитя, не знающий людей,
Не смел подозревать такого преступленья.
Я думал: вся вина ее... не знает он,
Кто эта женщина... как странный сон,
Забудет он свое ночное приключенье!
Он не забыл, он стал искать и отыскал,
И тут — не мог остановиться...
Вот благодарность!.. много я видал
На свете, а пришлось еще дивиться.

(Перечитывает письмо.)

«Я вас нашел, но не хотели вы
Признаться». Скромность кстати чрезвычайно.

«Вы правы... что́ страшней молвы?
Подслушать нас могли б случайно.
Так не презрение, но страх
Прочел я в ваших пламенных глазах.
Вы тайны любите — и это будет тайной!
Но я скорей умру, чем откажусь от вас».

Шприх

Письмо! так, так, оно — пропало все как раз.

Арбенин

Ого! искусный соблазнитель — право,
Мне хочется послать ему ответ кровавой.
(Казарину.)
А, ты был здесь?

Казарин

Я жду уж целый час.

Шприх

(в сторону)

Отправлюсь к баронессе, пусть хлопочет
И рассыпается, как хочет.

(Приближается к двери.)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Прежние, кроме Шприха.

Шприх уходит незамечен.

Казарин

Мы с Шприхом... где же Шприх?
Пропал.

(В сторону.)

Письмо! так вот что, понимаю!

(Ему.)

«МАСКАРАД».

Художник Н. В. КУЗЬМИН.

Ты в размышленье...

Арбенин

Да, я размышляю.

Казарин

О бренности надежд и благ земных.

Арбенин

Почти! о благодарности.

Казарин

Есть мненья
Различные на этот счет,
Но что б ни думал этот или тот,
А все предмет достоин размышленья.

Арбенин

Твое же мнение?

Казарин

Я думаю, мой друг,
Что благодарность — вещь, которая тем боле
Зависит от цены услуг,
Что не всегда добро бывает в нашей воле!
Вот, например, вчера опять
Мне Слукин проиграл почти что тысяч пять,
И я, ей-богу, очень благодарен,
Да вот как: пью ли, ем иль сплю,
Все думаю об нем.

Арбенин

Ты шутишь все, Казарин.

Казарин

Послушай, я тебя люблю
И буду говорить серьезно;
Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой грозный,

И я открою пред тобой
Все таинства премудрости земной.
Мое ты хочешь слышать мненье
О благодарности... изволь: возьми терпенье.
Что ни толкуй Волтер или Декарт —
Мир для меня — колода карт,
Жизнь — банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.
И вот теперь пример,
Для поясненья этих правил,
Пусть разом тысячу я на туза поставил:
Так, по предчувствию,— я в картах суевер!
Положим, что случайно, без обману
Он выиграл — я очень рад;
Но все никак туза благодарить не стану
И молча загребу свой клад,
И буду гнуть да гнуть, покуда не устану;
А там итоги свел
И карту смятую — под стол!
Теперь — но ты не слушаешь, мой милый?

Арбенин

(в размышлении)

Повсюду зло — везде обман,
И я намедни, я, как истукан,
Безмолвно слушал, как все это было!

Казарин

(в сторону)

Задумался.

(Ему.)

Теперь мы перейдем
К другому казусу и дело разберем;
Но постепенно, чтоб не сбиться.
Положим, например, в игру или разврат
Ты б захотел опять пуститься,
И тут приятель твой случится
И скажет: «Эй, остерегися, брат».
И прочие премудрые советы,
Которые не стоят ничего.

И ты случайно, так, послушаешь его;
Ему поклон и многи леты;
И если он тебя от пьянства удержал,
То напои его сейчас без замедленья
И в карты обыграй в обмен за наставленье.
А от игры он спас... так ты ступай на бал,
Влюбись в его жену... иль можешь не влюбиться,
Но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться.
В обоих случаях ты будешь прав, дружок,
И только что отдашь уроком за урок.

Арбенин

Ты славный моралист!

(В сторону.)

Так это всем известно...
А, князь... За ваш урок я заплачу вам честно.

Казарин

(не обращая внимания)

Последний пункт осталось объяснить:
Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей честью,
Богатством, дружбою и жизнью, может быть;
Ты окружил ее забавами и лестью,
Но ей за что тебя благодарить?
Ты это сделал все из страсти
И самолюбия, отчасти,—
Чтоб ею обладать, пожертвовал ты всё,
А не для счастия ее.
Да,— пораздумай-ка об этом хладнокровно
И скажешь сам, что в мире все условно.

Арбенин

(расстроенно)

Да, да, ты прав: что́ женщине в любви?
Победы новые ей нужны ежедневно.
Пожалуй, плачь, терзайся и моли —
Смешон ей вид и голос твой плачевный,
Ты прав — глупец, кто в женщине одной
Мечтал найти свой рай земной.

Казарин

Ты рассуждаешь очень здраво,
Хотя женат и счастлив.

Арбенин

Право?

Казарин

А разве нет?

Арбенин

О! счастлив... да...

Казарин

Я очень рад,
Однако ж все мне жаль, что ты женат!

Арбенин

А что же?

Казарин

Так... я вспоминаю
Про прежнее... когда с тобой
Кутили мы, в чью голову,— не знаю,
Хоть оба мы ребята с головой!..
Вот было время... Утром отдых, нега,
Воспоминания приятного ночлега...
Потом обед, вино — Рауля честь...
В граненых кубках пенится и блещет,
Беседа шумная, острот не перечесть.
Потом в театр — душа трепещет
При мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис
Выманивали мы танцовщиц и актрис...
Не правда ли, что древле
Все было лучше и дешевле?
Вот пьеса кончилась... и мы летим стрелой
К приятелю... взошли... игра уж в самой силе;
На картах золото насыпано горой:
Тот весь горит... другой
Бледнее, чем мертвец в могиле.

Садимся мы... и загорелся бой!..
Тут, тут сквозь душу переходит
Страстей и ощущений тьма,
И часто мысль гигантская заводит
Пружину пылкого ума...
И если победишь противника уменьем,
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим
с смиреньем —
Тогда и сам Наполеон
Тебе покажется и жалок и смешон.

Арбенин отворачивается.

Арбенин

О! кто мне возвратит... вас, буйные надежды,
Вас, нестерпимые, но пламенные дни!
За вас отдам я счастие невежды,
Беспечность и покой — не для меня они!..
Мне ль быть супругом и отцом семейства,
Мне ль, мне ль, который испытал
Все сладости порока и злодейства,
И перед их лицом ни разу не дрожал?
Прочь, добродетель: я тебя не знаю,
Я был обманут и тобой,
И краткий наш союз отныне разрываю —
Прощай — прощай!..

(Падает на стул и закрывает лицо.)

Казарин

Теперь он мой!..

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Комната у князя.
Дверь в другую растворена. Он в другой спит на диване.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Иван, потом Арбенин.

Слуга смотрит на часы.

Иван

Седьмой уж час почти в исходе,
А в восемь приказал себя он разбудить.

Он спит по-русски, не по моде,
И я успею в лавочку сходить.
Дверь на замок запру... оно вернее.
Да... чу... по лестнице идут.
Скажу, что дома нет... и с рук долой скорее.

Арбенин входит.

Арбенин

Князь дома?

Слуга

Дома нет-с.

Арбенин

Неправда.

Слуга

Пять минут
Тому назад уехал.

Арбенин

(прислушивается)

Лжешь! он тут

(показывает на кабинет)

И, верно, сладко спит,— прислушайся, как дышит.

(В сторону.)

Но скоро перестанет.

Слуга

(в сторону)

Он все слышит...

(Ему.)

Себя будить мне князь не приказал.

Арбенин

Он любит спать... тем лучше: приведется
И вечно спать.

(Слуге.)

Я, кажется, сказал,
Что буду ждать, покуда он проснется!..

Слуга уходит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин

(один)

Удобный миг настал!.. теперь иль никогда.
Теперь я все свершу, без страха и труда.
Я докажу, что в нашем поколенье
Есть хоть одна душа, в которой оскорбленье,
Запав, приносит плод... О! я не их слуга,
Мне поздно перед ними гнуться...
Когда б, крича, пред них я вызвал бы врага,
Они б смеялися... теперь не засмеются!
О нет, я не таков... позора целый час
На голове своей не потерплю я даром.

(Растворяет дверь.)

Он спит!.. что́ видит он во сне в последний раз?

(Страшно улыбаясь.)

Я думаю, что он умрет ударом —
Он свесил голову... я крови помогу...
И всё на счет благой природы!

(Входит в комнату.)

(Минуты две, и выходит бледен.)

Не могу.

Молчание.

Да! это свыше сил и воли!..
Я изменил себе, я задрожал,
Впервые во всю жизнь... давно ли
Я трус?.. трус... кто это сказал...
Я сам, и это правда... стыдно, стыдно,
Беги, красней, презренный человек.
Тебя, как и других, к земле прижал наш век,
Ты пред собой лишь хвастался, как видно;
О! жалко... право, жалко... изнемог
И ты под гнетом просвещенья!
Любить... ты не умел... а мщенья
Хотел... пришел и — и не мог!

Молчание.

(Садится.)

Я слишком залетел высоко,
Верней избрать я должен путь...
И замысел иной глубоко
Запал в мою измученную грудь.
Так, так, он будет жить... убийство уж не в моде:
Убийц на площадях казнят.
Так!.. в образованном я родился народе;
Язык и золото... вот наш кинжал и яд!

(Берет чернил и записку пишет — берет шляпу.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и баронесса.

Идет к двери, сталкивается с дамой в вуале.

Дама в вуале

Ах!.. все погибло...

Арбенин

Это что?

Дама

(вырываясь)

Пустите.

Арбенин

Нет, это не притворный крик
Продажной добродетели.

(Ей строго.)

Молчите!
Ни слова, или сей же миг...
Какое подозренье!.. отверните
Ваш вуаль, пока мы здесь одне.

Дама

Я не туда зашла, ошиблась.

Арбенин

Да, немного
Ошиблись, кажется и мне,
Но временем, не местом.

Дама

Ради бога,
Пустите, я не знаю вас.

Арбенин

Смущенье странно... вы должны открыться.
Он спит теперь... и может встать сейчас!
Все знаю я... но убедиться
Хочу...

Дама

Все знаете!..

Он откидывает вуаль и отступает в удивлении, потом приходит в себя.

Арбенин

Благодарю, творец,
Что ты позволил мне хоть нынче ошибиться!

Баронесса

О! что я сделала? теперь всему конец.

Арбенин

Отчаянье теперь некстати —
Невесело, согласен, в час такой.
Наместо пламенных объятий,
С холодной встретиться рукой...
И то минутный страх... а нет беды большой:
Я скромен, рад молчать — благодарите бога,
Что это я, а не другой...
Не то была бы в городе тревога.

Баронесса

Ах! он проснулся, говорит.

Арбенин

В бреду...
Но успокойтесь, я сейчас пойду.
Лишь объясните мне, какою властью
Вот этот купидон — вас вдруг околдовал?
Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл,
Все женщины к нему пылают страстью?
Зачем не он у ваших ног с тоской,
С моленьем, клятвами, слезами?
А... вы... вы здесь одни... вы женщина с душой,
Забывши стыд, пришли ему предаться сами...
Зачем другая женщина, ничем
Не хуже вас, ему отдать готова
Все: счастье, жизнь, любовь... за взгляд один, за слово?
Зачем... о, я глупец!

(В бешенстве.)

Зачем, зачем?

Баронесса

(решительно)

Я поняла, об чем вы говорите... Знаю,
Что вы пришли...

Арбенин

Как! — кто ж вам рассказал!..

(Опомнившись.)

А что вы знаете?..

Баронесса

О, я вас умоляю,
Простите мне...

Арбенин

Я вас не обвинял,
Напротив, радуюсь приятельскому счастью.

Баронесса

Ослеплена была я страстью;
Во всем виновна я, но слушайте...

Арбенин

К чему?
Мне, право, все равно... я враг морали строгой.

Баронесса

Но если бы не я, то не бывать письму,
Ни...

Арбенин

А! уж это слишком много!..
Письмо!.. Какое?.. а! так это вы тогда!
Вы их свели... учили их... давно ли
Взялись вы за такие роли?
Что́ вас понудило?.. сюда
Приводите вы ваших жертв невинных,
Иль молодежь приходит к вам?
Да,— признаюсь!.. вы клад в гостиных,
И я уж не дивлюсь разврату наших дам!..

Баронесса

О! боже мой...

Арбенин

Я говорю без лести...
А сколько платят вам все эти господа?

Баронесса

(упадает в кресла)

Но вы бесчеловечны.

Арбенин

Да,
Ошибся, виноват, вы служите из чести!

(Хочет идти.)

Баронесса

О, я лишусь ума... постойте! он идет,
Не слушает... о, я умру...

Арбенин

Что ж! продолжайте.
Вас это к славе поведет...
Теперь меня не бойтесь, и прощайте...
Но боже сохрани нам встретиться вперед...
Вы взяли у меня все, все на свете.
Я стану вас преследовать всегда,
Везде... на улице, в уединенье, в свете;
И если мы столкнемся... то беда!
Я б вас убил... но смерть была б награда,
Которую сберечь я должен для другой.
Вы видите, я добр... взамен терзаний ада,
Вам оставляю рай земной.

(Уходит.)

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Баронесса, одна.

Баронесса

(вслед ему)

Послушайте — клянусь... то был обман... она
Невинна... и браслет!.. все я... все я одна...

Ушел, не слышит, что мне делать! Всюду
Отчаянье... нет нужды... я хочу
Его спасти, во что бы то ни стало,— буду
Просить и унижаться; обличу
Себя в обмане, преступленье!
Он встал... идет... решуся, о мученье!..

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Баронесса и князь.

Князь

(в другой комнате)

Иван! кто там... я слышал голоса!
Какой народ! нельзя уснуть и полчаса!

(Входит.)

Ба, это что за посещенье!
Красавица! я очень рад.

(Узнает и отскакивает.)

Ах, баронесса! нет... невероятно.

Баронесса

Что отскочили вы назад?

(Слабым голосом.)

Вы удивляетесь?

Князь

(смущенно)

Конечно, мне приятно...
Но счастия такого я не ждал.

Баронесса

И было б странно, если б ожидали.

Князь

О чем я думал? О, когда б я знал...

Баронесса

Вы всё бы знать могли и ничего не знали.

Князь

Свою вину загладить я готов;
С покорностью приму какое наказанье
Хотите... я был слеп и нем; мое незнанье
Проступок... и теперь не нахожу я слов...

(Берет ее за руку.)

Но ваши руки... лед! в лице у вас страданье!
Ужель сомнительны для вас слова мои?

Баронесса

Вы ошибаетесь!.. не требовать любви
И не выпрашивать признанья
Решилась я приехать к вам.
Забыть и стыд и страх, все свойственное нам.
Нет, то обязанность святая:
Былая жизнь моя прошла,
И жизнь уж ждет меня иная;
Но я была причиной зла,
И, свет навеки покидая,
Теперь все прежнее загладить я пришла!
Я перенесть свой стыд готова,
Я не спасла себя... спасу другого.

Князь

Что это значит?

Баронесса

Не мешайте мне!
Мне много стоило усилий,
Чтоб говорить решиться... вы одне,
Не ведая того, причиной были
Моих страданий... несмотря на то,
Я вас должна спасти... зачем? за что?

Не знаю... вы не заслужили
Всех этих жертв... вы не могли любить,
Понять меня... и даже, может быть,
Я б этого и не желала...
Но слушайте!.. сегодня я узнала,
Как? это все равно... что вы
К жене Арбенина вчера неосторожно
Писали... по словам молвы,
Она вас любит — это ложно, ложно!
Не верьте — ради неба... эта мысль одна...
Нас всех погубит — всех! *Она*
Не знает ничего... но муж... читал... ужасен
В любви и ненависти он —
Он был уж здесь... он вас убьет... он приучен
К злодейству... вы так молоды.

Князь

Ваш страх напрасен!..
Арбенин в свете жил,— и слишком он умен,
Чтобы решиться на огласку;
И сделать, наконец, без цели и нужды,
В пустой комедии — кровавую развязку.
А рассердился он,— и в этом нет беды:
Возьмут Лепажа пистолеты,
Отмерят тридцать два шага —
И, право, эти эполеты
Я заслужил не бегством от врага.

Баронесса

Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже,
Чем вам... и связь у ней есть с жизнию другой,
Но если вас убьют — убьют!..— о боже!
И я всему виной.

Князь

Вы?

Баронесса

Пощадите.

Князь

(подумав)

Я обязан драться;

Я виноват пред ним — его я тронул честь,
Хотя не знал того; но оправдаться
Нет средства.

Баронесса

Средство есть.

Князь

Солгать? не это ли? другое мне найдите,
Я лгать не стану, жизнь свою храня,
И тотчас же пойду.

Баронесса

Минуту!.. не ходите
И слушайте меня.

(Берет его за руку.)

Вы все обмануты!.. та маска

(облокачивается на стол, упадая)

это я!..

Князь

Как вы? о, провиденье!

Молчание.

Но Шприх!.. он говорил... он виноват во всем...

Баронесса

(опомнясь и отходя)

Минутное то было заблужденье,
Безумство странное — теперь я каюсь в нем!
Оно прошло — забудьте обо всем.
Отдайте ей браслет,— он был найден случайно
Какой-то чудною судьбой;
И обещайте мне, что это тайной
Останется... мне будет бог судьей.

Вас он простит... меня простить не в вашей воле!
Я удаляюсь... думаю, что боле
Мы не увидимся.

(Подойдя к двери, видит, что он хочет броситься за ней.)

Не следуйте за мной.

(Уходит.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Князь, один.

Князь

(после долгого размышления)

Я, право, думать что́, не знаю
И только мог понять из этого всего,
Что случай счастливый, как школьник, пропускаю,
Не сделав ничего.

(Подходит к столу.)

Ну вот еще: записка... от кого?
Арбенин... прочитаю!
«Любезный князь!.. приезжай сегодня к N. вечером; там будет много... и мы весело проведем время... я не хотел разбудить тебя, а то ты бы дремал целый вечер — прощай. Жду непременно; твой искренний

Евгений Арбенин».

Ну, право, глаз особый нужен,
Чтоб в этом увидать картель.
Где слыхано, чтоб звать на ужин
Пред тем, чтоб вызвать на дуэль?

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната у N.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Казарин, хозяин и Арбенин, садятся играть.

Казарин

Так в самом деле, ты причуды все оставил,
Которыми гордится свет,
И в прежний путь шаги свои направил!..
Мысль превосходная... ты должен быть поэт,
И, сверх того, по всем приметам, гений,
Теснит тебя домашний круг,
Дай руку, милый друг,
Ты наш.

Арбенин

Я ваш! былого нет и тени.

Казарин

Приятно видеть, ей-же-ей,
Как люди умные на вещи смотрят ныне;
Приличия для них ужаснее цепей...
Не правда ль, что со мной ты будешь в половине?

Хозяин

А князя надо пощипать слегка.

Казарин

Да... да.

(В сторону.)

Забавна будет стычка.

Хозяин

Посмотрим.— Транспорт!..

Слышен шум.

Арбенин

Это он.

Казарин

Рука
Твоя дрожит?..

Арбенин

О ничего! — отвычка!

Князь входит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Прежние и князь.

Хозяин

Ах, князь! я очень рад — прошу-ка без чинов;
Снимите саблю и садитесь,
У нас ужасный бой.

Князь

О! я смотреть готов.

Арбенин

А всё играть с тех пор еще боитесь?

Князь

Нет, с вами, право, не боюсь.

(В сторону.)

По светским правилам, я мужу угождаю,
А за женою волочусь...
Лишь выиграть бы там,— а здесь пусть проиграю!..

(Садится.)

Арбенин

Я нынче был у вас.

Князь

Записку я читал
И, видите, послушен.

Арбенин

На пороге
Мне кто-то встретился в смущенье и тревоге.

Князь

И вы узнали?

Арбенин

(смеясь)

Кажется, узнал!
Князь, обольститель вы опасный,
Все понял я, все отгадал...

Князь

(в сторону)

Он ничего не понял — это ясно.

(Отходит и кладет саблю.)

Арбенин

Я не хотел бы, чтоб жена моя
Вам приглянулась.

Князь

(рассеянно)

Почему же?

Арбенин

Так,— добродетелью, которой ищут в муже
Любовники,— не обладаю я.

(В сторону.)

Он не смущается ничем... о, я разрушу
Твой сладкий мир, глупец, и яду подолью.
И если бы ты мог на карту бросить душу,
То я против твоей — поставил бы свою.

Играют. Арбенин мечет.

Казарин

Я ставлю пятьдесят рублей.

Князь

Я тоже.

Арбенин

Я расскажу вам анекдот,
Который слышал я, как был моложе;
Он нынче у меня из головы нейдет.
Вот видите: один какой-то барин,
Женатый человек,— твоя взяла, Казарин.
Женатый человек, на верность положась
Своей жене, дремал в забвенье сладком,—
Внимательны вы что-то слишком, князь,
И проиграетесь порядком.
Муж добрый был любим, шел мирно день за днем
И, к довершенью благ, беспечному супругу
Был дан приятель... важную услугу
Ему он оказал когда-то — и притом
Нашел, казалось, честь и совесть в нем.
И что ж? мне неизвестно,
Какой судьбой,— но муж узнал,
Что благородный друг, должник уж слишком честный,
Жене его свои услуги предлагал.

Князь

Что ж сделал муж?

Арбенин

(будто не слыхал вопроса)

Князь, вы игру забыли.
Вы гнете не глядя.

(Взглянув на него пристально.)

А любопытно вам
Узнать, что сделал муж?.. придрался к пустякам
И дал пощечину... вы как бы поступили,
Князь?

Князь

Я бы сделал то же. Ну, а там
Стрелялись?

Арбенин

Нет.

Казарин

Рубились?

Арбенин

Нет, нет.

Казарин

Так помирились?

Арбенин

(горько улыбаясь)

О нет.

Князь

Так что же сделал он?

Арбенин

Остался отомщен
И обольстителя с пощечиной оставил.

Князь

(смеется)

Да это вовсе против правил.

Арбенин

В каком указе есть
Закон иль правило на ненависть и месть?

Играют. Молчание.

Взяла... взяла.

(Вставая.)

Постойте, карту эту
Вы подменили.

Князь

Я! послушайте...

Арбенин

Конец
Игре... приличий тут уж нету.
Вы

(задыхаясь)

шулер и подлец.

Князь

Я? я?

Арбенин

Подлец, и я вас здесь отмечу,
Чтоб каждый почитал обидой с вами встречу.

(Бросает ему карты в лицо. Князь так поражен, что не знает, что делать.)

(Понизив голос.)

Теперь мы квиты.

Казарин

Что с тобой?

(Хозяину.)

Он помешался в самом лучшем месте.
Тот горячился уж, спустил бы тысяч двести.

Князь

(опомнясь, вскакивает)

Сейчас, за мной, за мной —
Кровь! ваша кровь лишь смоет оскорбленье!

Арбенин

Стреляться? с вами? мне? вы в заблужденье.

Князь

Вы трус.

(Хочет броситься на него.)

Арбенин

(грозно)

Пускай! но подступать
Вам не советую — ни даже здесь остаться!
Я трус — да вам не испугать
И труса.

Князь

О, я вас заставлю драться!
Я расскажу везде, поступок ваш каков,
Что вы,— не я подлец...

Арбенин

На это я готов.

Князь

(подходя ближе)

Я расскажу, что с вашею женою —
О, берегитесь!.. вспомните браслет...

Арбенин

За это вы наказаны уж мною...

Князь

О, бешенство... да где я? целый свет
Против меня,— я вас убью!..

Арбенин

И в этом
Вы властны,— даже я вас подарю советом
Скорей меня убить... а то, пожалуй, в вас
Остынет храбрость через час.

Князь

О, где ты, честь моя!.. отдайте это слово,
Отдайте мне его — и я у ваших ног,
Да в вас нет ничего святого,
Вы человек иль демон?

Арбенин

Я? — игрок!

Князь

(упадая и закрывая лицо)

Честь, честь моя!..

Арбенин

Да, честь не возвратится.
Преграда рушена между добром и злом,
И от тебя весь свет с презреньем отвратится.
Отныне ты пойдешь отверженца путем,
Кровавых слез познаешь сладость,
И счастье ближних будет в тягость
Твоей душе, и мыслить об одном
Ты будешь день и ночь, и постепенно чувства
Любви, прекрасного погаснут и умрут,
И счастья не отдаст тебе ничье искусство!
Все шумные друзья как листья отпадут

От сгнившей ветви; и, краснея,
Закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить,—
И будет больше стыд тебя томить,
Чем преступление — злодея!
Теперь прощай...

(Уходя.)

желаю долго жить.

(Уходит.)

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Бал.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Хозяйка

Я баронессу жду, не знаю:
Приедет ли — мне, право, было б жаль
За вас.

1-й гость

Я вас не понимаю.

2-й гость

Вы ждете баронессу Штраль?
Она уехала!..

Многие

Куда? зачем — давно ли?

2-й гость

В деревню, нынче утром.

Дама

Боже мой!..
Каким же случаем? ужель из доброй воли?

2-й гость

Фантазия! — романы!.. хоть рукой
Махни!

Расходятся, другая группа мужчин.

3-й гость

Вы знаете, князь Звездич проигрался.

4-й гость

Напротив, выиграл — да, видно, не путем,
И получил пощечину.

5-й гость

Стрелялся?

4-й гость

Нет, не хотел.

3-й гость

Каким же подлецом
Он показал себя!..

5-й гость

Отныне незнаком
Я больше с ним.

6-й гость

И я! — какой поступок скверный.

4-й гость

Он будет здесь?

3-й гость

Нет, не решится, верно.

4-й гость

Вот он.

Князь подходит, ему едва кланяются. Все отходят, кроме 5-го и 6-го гостя. Потом и они отходят. Нина садится на диване.

Князь

Теперь мы с ней от всех удалены,
Не будет случая другого.

(Ей.)

Я должен вам сказать два слова,
И выслушать вы их должны.

Нина

Должна?

Князь

Для вашего же счастья.

Нина

Какое странное участье.

Князь

Да, странно, потому, что вы виной
Моей погибели... но мне вас жаль: я вижу,
Что поражен я тою же рукой,
Которая убьет вас; не унижу
Себя ничтожной местью никогда,—
Но слушайте и будьте осторожны:
Ваш муж злодей, бездушный и безбожный,
И я предчувствую, что вам грозит беда.
Прощайте же навек, злодей не обнаружен,
И наказать его теперь я не могу,—
Но день придет,— я подожду...
Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен.

Арбенин смотрит на них издали.

Нина

Князь, вы сошли с ума,— на вас
Теперь сердиться было б стыдно.

Князь

Прощайте навсегда — прошу в последний раз...

Нина

Куда ж вы едете, далеко очень, видно;
Конечно, не в луну?

Князь

Нет, ближе: на Кавказ *(уходя)*.

Хозяйка

(иным)

Почти все съехались, и здесь нам будет тесно,
Прошу вас в залу, господа!
Mesdames, пожалуйте туда.

Уходят.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин

(один, про себя)

Я сомневался? я? а это всем известно;
Намеки колкие со всех сторон
Преследуют меня... я жалок им, смешон!
И где плоды моих усилий?
И где та власть, с которою порой
Казнил толпу я словом, остротой?..
Две женщины ее убили!
Одна из них... О, я ее люблю,
Люблю — и так неистово обманут...

Нет, людям я ее не уступлю...
И нас судить они не станут...
Я сам свершу свой страшный суд...
Я казнь ей отыщу — моя ж пусть будет тут.

(Показывает на сердце.)

Она умрет, жить вместе с нею доле
Я не могу... Жить розно?

(Как бы испугавшись себя.)

Решено:
Она умрет — я прежней твердой воле
Не изменю! Ей, видно, суждено
Во цвете лет погибнуть, быть любимой
Таким, как я, злодеем, и любить
Другого... это ясно!.. как же можно жить
Ей после этого!.. ты, бог незримый,
Но бог всевидящий,— возьми ее, возьми;
Как свой залог тебе ее вручаю —
Прости ее, благослови —
Но я не бог, и не прощаю!..

Слышны звуки музыки.

(Ходит по комнате, вдруг останавливается.)

Тому назад лет десять я вступал
Еще на поприще разврата:
Раз, в ночь одну, я все до капли проиграл,—
Тогда я знал уж цену злата,
Но цену жизни я не знал;
Я был в отчаянье — ушел и яду
Купил — и возвратился вновь
К игорному столу — в груди кипела кровь.
В одной руке держал я лимонаду
Стакан — в другой четверку пик:
Последний рубль в кармане дожидался
С заветным порошком — риск, право, был велик;
Но счастье вынесло — и в час я отыгрался!
С тех пор хранил я этот порошок,
Среди волнений жизни трудной,
Как талисман таинственный и чудный,
Хранил на черный день, и день тот недалек.

(Уходит быстро.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Хозяйка, Нина, несколько дам и кавалеров. Во время последних строк входят.

Хозяйка

Не худо бы немного отдохнуть.

Дама

(другой)

Так жарко здесь, что я растаю.

Петков

Настасья Павловна споет нам что-нибудь.

Нина

Романсов новых, право, я не знаю,
А старые наскучили самой.

Дама

Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой.

Хозяйка

Ты так мила, что, верно, не заставишь
Себя просить напрасно целый час.

Нина

(садясь за пианино)

Но слушать со вниманьем мой приказ,
Хоть этим наказаньем вас
Авось исправишь!

(Поет.)

Когда печаль слезой невольной
Промчится по глазам твоим,
Мне видеть и понять не больно,
Что ты несчастлива с другим.

«МАСКАРАД».

Художник Н. В. КУЗЬМИН.

*

Незримый червь незримо гложет
Жизнь беззащитную твою,
И что ж? я рад, что он не может
Тебя любить, как я люблю.

*

Но если счастие случайно
Блеснет в лучах твоих очей,
Тогда я мучусь горько, тайно,
И целый ад в груди моей.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и Арбенин.

В конце 3-го куплета муж входит и облокачивается на фортепиано. Она, увидев, останавливается.

Арбенин

Что ж, продолжайте.

Нина

Я конец совсем
Забыла.

Арбенин

Если вам угодно,
То я напомню.

Нина

(в смущении)

Нет, зачем?

(В сторону, хозяйке.)

Мне нездоровится.

(Встает.)

Гость

(другому)

Во всякой песни модной
Всегда слова такие есть,
Которых женщина не может произнесть.

2-й гость

К тому же слишком прям и наш язык природный
И к женским прихотям доселе не привык.

3-й гость

Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный,
Не гнется гордый наш язык,
Зато уж мы как гнемся добродушно.

Подают мороженое. Гости расходятся к другому концу залы и по одному уходят в другие комнаты, так что наконец Арбенин и Нина остаются вдвоем.

Неизвестный показывается в глубине театра.

Нина

(хозяйке)

Там жарко, отдохнуть я сяду в стороне!

(Мужу.)

Мой ангел, принеси мороженого мне.

Арбенин вздрагивает и идет за мороженым; возвращается и всыпает яд.

Арбенин

(в сторону)

Смерть, помоги.

Нина

(ему)

Мне что-то грустно, скучно;
Конечно, ждет меня беда.

Арбенин

(в сторону)

Предчувствиям я верю иногда.

(Подавая.)

Возьми, от скуки вот лекарство.

Нина

Да, это прохладит *(ест)*.

Арбенин

О, как не прохладить?

Нина

Здесь ныне скучно.

Арбенин

Как же быть?
Чтоб не скучать с людьми — то надо приучить
Себя смотреть на глупость и коварство!
Вот все, на чем вертится свет!

Нина

Ты прав! ужасно!..

Арбенин

Да, ужасно!

Нина

Душ непорочных нету...

Арбенин

Нет.
Я думал, что нашел одну, и то напрасно.

Нина

Что говоришь ты?

Арбенин

Я сказал,
Что в свете лишь одну такую отыскал я.
...Тебя.

Нина

Ты бледен.

Арбенин

Много танцевал.

Нина

Опомнись, mon ami! [1] ты с места не вставал.

Арбенин

Так, верно, потому, что мало танцевал я!

Нина

(отдает пустое блюдечко)

Возьми, поставь на стол.

Арбенин

(берет)

Всё, всё!
Ни капли не оставить мне! жестоко!

(В размышлении.)

Шаг сделан роковой, назад идти далеко,
Но пусть никто не гибнет за нее.

(Бросает блюдечко об землю и разбивает.)

---

[1] Мой друг! *(франц.)*

Нина

Как ты неловок.

Арбенин

Ничего, я болен;
Поедем поскорей домой.

Нина

Поедем, но скажи мне, милый мой:
Ты нынче пасмурен! ты мною недоволен?

Арбенин

Нет, нынче я доволен был тобой.

Уходят.

Неизвестный

(оставшись один)

Я чуть не сжалился,— и было тут мгновенье,
Когда хотел я броситься вперед...

(Задумывается.)

Нет, пусть свершается судьбы определенье,
А действовать потом настанет мой черед.

(Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Спальня Арбенина.

Входит Нина, за ней служанка.

Служанка

Сударыня, вы что-то бледны стали.

Нина

(снимая серьги)

Я нездорова.

Служанка

Вы устали.

Нина

(в сторону)

Мой муж меня пугает, отчего,
Не знаю! он молчит, и странен взгляд его.

(Служанке.)

Мне что-то душно: верно, от корсета —
Скажи, к лицу была сегодня я одета?

(Идет к зеркалу.)

Ты права, я бледна, как смерть бледна;
Но в Петербурге кто не бледен, право?
Одна лишь старая княжна,
И то — румяны! свет лукавый!

(Снимает букли и завертывает косу.)

Брось где-нибудь и дай мне шаль.

(Садится в креслы.)

Как новый вальс хорош! в каком-то упоенье
Кружилась я быстрей — и чудное стремленье
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль,
И сердце сжалося; не то, чтобы печаль,
Не то, чтоб радость — Саша, дай мне книжку.
Как этот князь мне надоел опять —
А право, жаль безумного мальчишку!
Что говорил он тут... злодей и наказать...
Кавказ... беда... вот бред.

Служанка

Прикажете убрать?

(Показывая на наряды.)

Нина

Оставь.

(Погружается в задумчивость.)

Арбенин показывается в дверях.

Служанка

Прикажете идти?

Арбенин

(служанке, тихо)

Ступай.

Служанка не уходит.

Иди же.

Уходит. Он запирает дверь.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин и Нина.

Арбенин

Она тебе уж больше не нужна.

Нина

Ты здесь?

Арбенин

Я здесь!

Нина

Я, кажется, больна,
И голова в огне — поди сюда поближе,
Дай руку — чувствуешь, как вся горит она?
Зачем я там мороженое ела,
Я, верно, простудилася тогда —
Не правда ли?

Арбенин

(рассеянно)

Мороженое? да...

Нина

Мой милый! я с тобой поговорить хотела!..
Ты изменился с некоторых пор,
Уж прежних ласк я от тебя не вижу.
Отрывист голос твой, и холоден твой взор.
И все за маскерад — о, я их ненавижу;
Я заклялася в них не ездить никогда.

Арбенин

(в сторону)

Не мудрено! теперь без них уж можно!

Нина

Что значит поступить хоть раз неосторожно.

Арбенин

Неосторожно! о!

Нина

И в этом вся беда.

Арбенин

Обдумать все заране надо было.

Нина

О, если бы я нрав заране знала твой,
То, верно б, не была твоей женой;
Терзать тебя, страдать самой —
Как это весело и мило!

Арбенин

И то: к чему тебе моя любовь!

Нина

Какая тут любовь? на что мне жизнь такая?

Арбенин

(садится возле нее)

Ты права! что такое жизнь? жизнь вещь пустая.
Покуда в сердце быстро льется кровь,
Всё в мире нам и радость и отрада.
Пройдут года желаний и страстей,
И все вокруг темней, темней!
Что жизнь? давно известная шарада
Для упражнения детей;
Где первое — рожденье! где второе —
Ужасный ряд забот и муки тайных ран,
Где смерть — последнее, а целое — обман!

Нина

(показывая на грудь)

Здесь что-то жжет.

Арбенин

(продолжая)

Пройдет! пустое!
Молчи и слушай: я сказал,
Что жизнь лишь дорога, пока она прекрасна,
А долго ль!.. жизнь как бал —
Кружишься — весело, кругом все светло, ясно...
Вернулся лишь домой, наряд измятый снял —
И все забыл, и только что устал.

Но в юных летах лучше с ней проститься,
Пока душа привычкой не сроднится
С ее бездушной пустотой;
Мгновенно в мир перелететь другой,
Покуда ум былым еще не тяготится;
Покуда с смертию легка еще борьба —
Но это счастие не всем дает судьба.

Нина

О нет, я жить хочу.

Арбенин

К чему?

Нина

Евгений,
Я мучусь, я больна.

Арбенин

А мало ли мучений,
Которые сильней, ужаснее твоих.

Нина

Пошли за доктором.

Арбенин

Жизнь — вечность, смерть —
лишь миг!

Нина

Но я — я жить хочу!

Арбенин

И сколько утешений
Там мучеников ждет.

Нина

(в испуге)

Но я молю:
Пошли за доктором скорее.

Арбенин

(встает, холодно)

Не пошлю.

Нина

(после молчания)

Конечно, шутишь ты — но так шутить безбожно:
Я умереть могу — пошли скорей.

Арбенин

Что ж? разве умереть вам невозможно
Без доктора?

Нина

Но ты злодей,
Евгений — я жена твоя.

Арбенин

Да! знаю — знаю!

Нина

О, сжалься! пламень разлился
В моей груди, я умираю.

Арбенин

Так скоро? Нет еще.

(Смотрит на часы.)

Осталось полчаса.

Нина

О, ты меня не любишь!

Арбенин

А за что же
Тебя любить — за то ль, что целый ад

Мне в грудь ты бросила? о нет, я рад, я рад
Твоим страданьям; боже, боже!
И ты, ты смеешь требовать любви!
А мало я любил тебя, скажи?
А этой нежности ты знала ль цену?
А много ли хотел я от любви твоей?
Улыбку нежную, приветный взгляд очей —
И что ж нашел: коварство и измену.
Возможно ли! меня продать!
Меня за поцелуй глупца... меня, который
По слову первому был душу рад отдать,
Мне изменить? мне? и так скоро!..

Нина

О, если бы вину свою сама
Я знала,— то...

Арбенин

Молчи, иль я сойду с ума!
Когда же эти муки перестанут!

Нина

Браслет мой — князь нашел,— потом
Каким-нибудь клеветником
Ты был обманут.

Арбенин

Так, я был обманут!
Довольно, я ошибся!.. возмечтал,
Что я могу быть счастлив... думал снова
Любить и веровать... но час судьбы настал,
И все прошло, как бред больного!
Быть может, я б успел небесные мечты
Осуществить, предавшися надежде,
И в сердце б оживил все, что цвело в нем прежде,—
Ты не хотела, ты!
Плачь! плачь — но что такое, Нина,
Что слезы женские? вода!
Я ж плакал? я, мужчина!
От злобы, ревности, мученья и стыда
Я плакал — да!

А ты не знаешь, что такое значит,
Когда мужчина — плачет!
О! в этот миг к нему не подходи:
Смерть у него в руках — и ад в его груди.

Нина

(в слезах упадает на колени и поднимает руки к небу)

Творец небесный, пощади!
Не слышит он, но ты все слышишь — ты все знаешь,
И ты меня, всесильный, оправдаешь!

Арбенин

Остановись — хоть перед ним не лги!

Нина

Нет, я не лгу — я не нарушу
Его святыни ложною мольбой,
Ему я предаю страдальческую душу;
Он, твой судья, защитник будет мой.

Арбенин

(который в это время ходит по комнате, сложив руки)

Теперь молиться время, Нина:
Ты умереть должна чрез несколько минут —
И тайной для людей останется кончина
Твоя, и нас рассудит только божий суд.

Нина

Как? умереть! теперь, сейчас — нет, быть не может.

Арбенин

(смеясь)

Я знал заранее, что это вас встревожит.

Нина

Смерть, смерть! он прав — в груди огонь — весь ад...

Арбенин

Да, я тебе на бале подал яд.

Молчание.

Нина

Не верю, невозможно — нет, ты надо мною

(бросается к нему)

Смеешься... ты не изверг... нет! в душе твоей
Есть искра доброты... с холодностью такою,
Меня ты не погубишь в цвете дней —
Не отворачивайся так, Евгений,
Не продолжай моих мучений,
Спаси меня, рассей мой страх...
Взгляни сюда...

(Смотрит ему прямо в глаза и отскакивает.)

О! смерть в твоих глазах.

(Упадает на стул и закрывает глаза.)

Он подходит и целует ее.

Арбенин

Да, ты умрешь — и я останусь тут
Один, один... года пройдут,
Умру — и буду все один! Ужасно!
Но ты! не бойся: мир прекрасный
Тебе откроется, и ангелы возьмут
Тебя в небесный свой приют.

(Плачет.)

Да, я тебя люблю, люблю... я все забвенью,
Что было, предал, есть граница мщенью,
И вот она: смотри, убийца твой
Здесь, как дитя, рыдает над тобой...

Молчание.

Нина

(вырывается и вскакивает)

Сюда, сюда... на помощь!.. умираю —
Яд, яд — не слышат... понимаю,
Ты осторожен... никого... нейдут...
Но помни! есть небесный суд,
И я тебя, убийца, проклинаю.

(Не добежав до двери, упадает без чувств.)

Арбенин

(горько смеясь)

Проклятие! что пользы проклинать?
Я проклят богом.

(Подходит.)

Бедное созданье,
Ей не по силам наказанье...

(Стоит сложа руки.)

Бледна!

(Содрогается.)

Но все черты спокойны, не видать
В них ни раскаянья, ни угрызений...
Ужель?

Нина

(слабо)

Прощай, Евгений!
Я умираю, но невинна... ты злодей...

Арбенин

Нет, нет — не говори, тебе уж не поможет
Ни ложь, ни хитрость... говори скорей:
Я был обманут... так шутить не может
Сам ад любовию моей!

Молчишь? о! месть тебя достойна...
Но это не поможет, ты умрешь...
И будет для людей все тайно — будь спокойна!..

Нина

Теперь мне все равно... я все ж
Невинна перед богом.

(Умирает.)

Арбенин

(подходит к ней и быстро отворачивается)

Ложь!

(Упадает в кресла.)

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Арбенин

(сидит у стола на диване)

Я ослабел в борьбе с собой
Среди мучительных усилий...
И чувства наконец вкусили
Какой-то тягостный, обманчивый покой!..
Лишь иногда невольною заботой
Душа тревожится в холодном этом сне,
И сердце ноет, будто ждет чего-то.
Не все ли кончено — ужели на земле
Страданье новое вкусить осталось мне!..
Вздор!.. дни пройдут — придет забвенье,
Под тягостью годов умрет воображенье;
И должен же покой когда-нибудь
Вновь поселиться в эту грудь!..

(Задумывается, вдруг поднимает голову.)

Я ошибался!.. нет, неумолимо
Воспоминание!.. как живо вижу я
Ее мольбы, тоску. О! мимо, мимо
Ты, пробужденная змея.

(Упадает головою на руки.)

ВЫХОД ВТОРОЙ

Казарин

(тихо)

Арбенин здесь? печален и вздыхает.
Посмотрим, как-то он комедию сыграет.

(Ему.)

Я, милый друг, спешил к тебе,
Узнавши о твоем несчастье.
Как быть — угодно так судьбе.
У всякого свои напасти.

Молчание.

Да полно, брат, личину ты сними,
Не опускай так важно взоры.
Ведь это хорошо с людьми,
Для публики,— а мы с тобой актеры.
Скажи-ка, брат... Да как ты бледен стал,
Подумаешь, что ночь всю в карты проиграл.
О, старый плут — да мы разговориться
Успеем после... Вот твоя родня:
Покойнице идут, конечно, поклониться.
Прощай же, до другого дня.

(Уходит.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Родственники приходят.

Дама

(племяннице)

Уж видно, есть над ним господнее проклятье;
Дурной был муж, дурной был сын.

Напомни мне заехать в магазин
Купить материи на траурное платье.
Хоть нынче нет доходов никаких,
А разоряюсь для родных.

Племянница

Ma tante![1] какая же причина
Тому, что умерла кузина?

Дама

А та, сударыня, что глуп ваш модный свет.
Уж доживете вы до бед.

Уходят.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Выходят из комнаты покойницы доктор и старик.

Старик

При вас она скончалась?

Доктор

Не успели
Меня найти... я говорил всегда:
С мороженым и балами беда.

Старик

Покров богат — парчу вы рассмотрели?
У брата моего прошедшею весной
На гробе был точь-в-точь такой.

(Уходит.)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Доктор

(подходит к Арбенину и берет его за руку)

Вам надо отдохнуть.

---

[1] Тетушка! *(франц.)*

Арбенин

(вздрагивает)

А!..

(В сторону.)

Сердце сжалось!

Доктор

Вы слишком предались печали эту ночь.
Усните.

Арбенин

Постараюсь.

Доктор

Уж помочь
Нельзя ничем; но вам осталось
Беречь себя.

Арбенин

Ого! я невредим.
Каким страданиям земным
На жертву грудь моя ни предавалась,
А я все жив... я счастия желал,
И в виде ангела мне бог его послал;
Мое преступное дыханье
В нем осквернило божество,
И вот оно, прекрасное созданье,—
Смотрите — холодно, мертво.
Раз в жизни человека мне чужого,
Рискуя честию, от гибели я спас,
А он, смеясь, шутя, не говоря ни слова,
Он отнял у меня все, все — и через час.

(Уходит.)

Доктор

Он болен не шутя — и я не сомневаюсь,
Что в этой голове мучений было тьма;

Но если он сойдет с ума,
То я за жизнь его ручаюсь.

(Уходя сталкивается с двумя.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Входят: Неизвестный и князь.

Неизвестный

Позвольте вас спросить — Арбенина нельзя ль
Нам видеть.

Доктор

Право, утверждать не смею,
Жена его вчера скончалась.

Неизвестный

Очень жаль.

Доктор

И он так огорчен.

Неизвестный

Я и об нем жалею.
Однако ж дома он?

Доктор

Он? дома! — да.

Неизвестный

Я дело до него преважное имею.

Доктор

Вы из друзей его, конечно, господа?

Неизвестный

Покамест нет — но мы пришли сюда,
Чтоб подружиться понемногу.

Доктор

Он болен не шутя.

Князь

(испугавшись)

Лежит
Без памяти?

Доктор

Нет, ходит, говорит.
И есть еще надежда.

Князь

Слава богу!

Доктор уходит.

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

Князь

О, наконец!

Неизвестный

Лицо у вас в огне.
Вы тверды ли в своем решенье?

Князь

А вы ручаетесь ли мне,
Что справедливо ваше подозренье?

Неизвестный

Послушайте — у нас обоих цель одна.
Его мы ненавидим оба;
Но вы его души не знаете — мрачна
И глубока, как двери гроба;
Чему хоть раз отворится она,

То в ней погребено навеки. Подозренья
Ей стоят доказательств — ни прощенья,
Ни жалости не знает он,—
Когда обижен — мщенье! мщенье!
Вот цель его тогда и вот его закон.
Да, эта смерть скора не без причины.
Я знал: вы с ним враги — и услужить вам рад.
Вы драться станете — я два шага назад,
И буду зрителем картины.

Князь

Но как узнали вы, что день тому назад
Я был обижен им?

Неизвестный

Я рассказать бы рад,
Да это вам наскучит,
К тому ж — весь город говорит.

Князь

Мысль нестерпимая!

Неизвестный

Она вас слишком мучит.

Князь

О, вы не знали, что такое стыд.

Неизвестный

Стыд? — нет — и опыт вас забыть о нем научит.

Князь

Но кто вы?

Неизвестный

Имя нужно вам?
Я ваш сообщник, ревностно и дружно
За вашу честь вступился сам.
А знать вам более не нужно.

Но, чу! идут... походка тяжела
И медленна. Он! — точно — удалитесь
На миг — есть с ним у нас дела.
И вы в свидетели теперь нам не годитесь.

Князь отходит в сторону.

ВЫХОД ОСЬМОЙ

Арбенин со свечой.

Арбенин

Смерть! смерть! о, это слово здесь
Везде,— я им проникнут весь,
Оно меня преследует; безмолвно
Смотрел я целый час на труп ее немой.
И сердце было полно, полно
Невыразимою тоской.
В чертах спокойствие и детская беспечность.
Улыбка вечная тихонько расцвела,
Когда пред ней открылась вечность,
И там свою судьбу душа ее прочла.
Ужель я ошибался? — невозможно
Мне ошибиться — кто докажет мне
Ее невинность — ложно! ложно!
Где доказательства — есть у меня оне!
Я не поверил ей — кому же стану верить.
Да, я был страстный муж — но был судья
Холодный — кто же разуверить
Меня осмелится?

Неизвестный

Осмелюсь — я!

Арбенин

(сначала пугается и, отойдя, подносит к лицу свечу)

А кто же вы?

Неизвестный

Не мудрено, Евгений,
Ты не узнал меня — а были мы друзья.

Арбенин

Но кто вы?

Неизвестный

Я твой добрый гений.
Да, неприметенный, везде я был с тобой;
Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде —
Знал все твои дела и мысль твою порой —
Остерегал тебя недавно в маскераде.

Арбенин

(вздрогнув)

Пророков не люблю — и выйти вас
Прошу немедленно. Я говорю серьезно.

Неизвестный

Всё так — но, несмотря на голос грозный
И на решительный приказ,
Я не уйду. Да, вижу, вижу ясно,
Ты не узнал меня. Я не из тех людей,
Которых может миг опасный
Отвлечь от цели многих дней.
Я цель свою достиг — и здесь на месте лягу,
Умру — но уж назад не сделаю ни шагу.

Арбенин

Я сам таков — и этим, сверх того,
Не хвастаюсь.

(Садится.)

Я слушаю.

Неизвестный

(в сторону)

Доселе
Мои слова не тронули его!
Иль я ошибся в самом деле!..
Посмотрим далее.

(Ему.)

Семь лет тому назад
Ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод,

Неопытен, и пылок, и богат.
Но ты — в твоей груди уж крылся этот холод,
То адское презренье ко всему,
    Которым ты гордился всюду!
Не знаю, приписать его к уму
Иль к обстоятельствам — я разбирать не буду
Твоей души — ее поймет лишь бог,
Который сотворить один такую мог.

Арбенин

Дебют хорош.

Неизвестный

Конец не будет хуже.
Раз ты меня уговорил,— увлек
    К себе... Мой кошелек
    Был полон — и к тому же
Я верил счастью. Сел играть с тобой
И проиграл,— отец мой был скупой
И строгий человек. И чтоб не подвергаться
Упрекам — я решился отыграться.
Но ты, хоть молод, ты меня держал
В когтях,— и я все снова проиграл.
Я предался отчаянью — тут были,
    Ты помнишь, может быть,
И слезы и мольбы... В тебе же возбудили
Они лишь смех. О! лучше бы пронзить
    Меня кинжалом. Но в то время
Ты не смотрел еще пророчески вперед.
    И только нынче злое семя
    Произвело достойный плод.

Арбенин хочет вскочить, но задумывается.

И я покинул все с того мгновенья,
Все: женщин и любовь, блаженство юных лет,
Мечтанья нежные и сладкие волненья,
И в свете мне открылся новый свет,
    Мир новых, странных ощущений,
Мир обществом отверженных людей,
Самолюбивых дум, и ледяных страстей,
    И увлекательных мучений.
Я увидал, что деньги — царь земли,
И поклонился им. Года прошли,

Все скоро унеслось: богатство и здоровье;
Навеки предо мной закрылась счастья дверь!
Я заключил с судьбой последнее условье —
И вот стал тем, что я теперь.
А! ты дрожишь,— ты понимаешь
И цель мою — и то, что я сказал.
Ну,— повтори еще, что ты меня не знаешь.

Арбенин

Прочь — я узнал тебя — узнал!..

Неизвестный

Прочь! разве это все — ты надо мной смеялся,
И я повеселиться рад.
Недавно до меня случайно слух домчался,
Что счастлив ты, женился и богат,
И горько стало мне — и сердце зароптало,
И долго думал я: за что ж
Он счастлив — и шептало
Мне чувство внятное: иди, иди, встревожь!
И стал я следовать, мешаясь с толпой,
Без устали, всегда повсюду за тобой,
Все узнавал — и наконец
Пришел трудам моим конец.
Послушай — я узнал — и — и открою
Тебе я истину одну...

(Протяжно.)

Послушай: ты... убил свою жену!..

Арбенин отскакивает. Князь подходит.

Арбенин

Убил? — я? — Князь! — О! что такое...

Неизвестный

(отступая)

Я все сказал, он скажет остальное.

Арбенин

(приходя в бешенство)

А! заговор... прекрасно... я у вас
В руках... вам помешать кто смеет?
Никто... вы здесь цари... я смирен: я сейчас
У ваших ног... душа моя робеет
От взглядов ваших... я глупец, дитя
И против ваших слов ответа не имею.
Я мигом побежден, обманут я шутя
И под топор нагну спокойно шею;
А вы не разочли, что есть еще во мне
Присутствие ума, и опытность, и сила?
Вы думали, что все взяла ее могила?
Что я не заплачу вам всем по старине?
Так вот как я унижен в вашем мненье
Коварным лепетом молвы!
Да, сцена хорошо придумана — но вы
Не отгадали заключенье.
А этот мальчик — так и он со мной
Бороться вздумал. Мало было
Одной пощечины — нет, хочется другой,
Вы всё получите, мой милый.
Вам жизнь наскучила! не странно — жизнь глупца,
Жизнь площадного волокиты.
Утешьтесь же теперь — вы будете убиты,
Умрете — с именем и смертью подлеца.

Князь

Увидим — но скорей.

Арбенин

Идем, идем.

Князь

Теперь я счастлив.

Неизвестный

(останавливая)

Да — а главное забыли.

Князь

(останавливая Арбенина)

Постойте — вы должны узнать — что обвинили
Меня напрасно... что ни в чем
Не виновата ваша жертва — оскорбили
Меня вы вовремя... я только обо всем
Хотел сказать вам — но пойдем.

Арбенин

Что? что?

Неизвестный

Твоя жена невинна — слишком строго
Ты обошелся.

Арбенин

(хохочет)

Да у вас в запасе шуток много!

Князь

Нет, нет — я не шучу, клянусь творцом.
Браслет случайною судьбою
Попался баронессе и потом
Был отдан мне ее рукою.
Я ошибался сам — но вашею женою
Любовь моя отвергнута была.
Когда б я знал, что от одной ошибки
Произойдет так много зла,
То, верно б, не искал ни взора, ни улыбки,
И баронесса — этим вот письмом
Вам открывается во всем.
Читайте же скорей — мне дороги мгновенья...

Арбенин взглядывает на письмо и читает.

Неизвестный

(подняв глаза к небу лицемерно)

Казнит злодея провиденье!
Невинная погибла — жаль!

Но здесь ждала ее печаль,
А в небесах спасенье!
Ах, я ее видал — ее глаза
Всю чистоту души изображали ясно.
Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный
Сомнет минутная гроза.
Что ты замолк, несчастный?
Рви волосы — терзайся — и кричи —
Ужасно! — о, ужасно!

Арбенин

(бросается на них)

Я задушу вас, палачи!

(Вдруг слабеет и падает на кресла.)

Князь

(толкая грубо)

Раскаянье вам не поможет.
Ждут пистолеты — спор наш не решен.
Молчит, не слушает, ужели он
Рассудок потерял...

Неизвестный

Быть может...

Князь

Вы помешали мне.

Неизвестный

Мы целим розно.
Я отомстил, для вас, я думаю, уж поздно!

Арбенин

(встает с диким взглядом)

О, что сказали вы?.. Нет сил, нет сил,
Я так был оскорблен, я так уверен был...
Прости, прости меня, о боже — мне прощенье.

(Хохочет.)

А слезы, жалобы, моленья?
А ты простил?

(Становится на колени)

Ну, вот и я упал пред вами на колена:
Скажите же — не правда ли — измена,
Коварство очевидны... я хочу, велю,
Чтоб вы ее сейчас же обвинили.
Она невинна? разве вы тут были?
Смотрели в душу вы мою?
Как я теперь прошу, так и она молила.
Ошибка — я ошибся — что ж!
Она мне то же говорила,
Но я сказал, что это *ложь*.

(Встает.)

Я это ей сказал.

Молчанье.

Вот что я вам открою:
Не я ее убийца.

(Вглядывает пристально на Неизвестного.)

Ты, скорей
Признайся, говори смелей,
Будь откровенен хоть со мною.
О милый друг, зачем ты был жесток?
Ведь я ее любил, я б небесам и раю
Одной слезы ее,— когда бы мог,
Не уступил — но я тебе прощаю!

(Упадает на грудь ему и плачет.)

Неизвестный

(отталкивая его грубо)

Приди в себя — опомнись...

(Князю)

Уведем
Его отсюда... он опомнится, конечно,
На воздухе...

(Берет его за руку.)

Арбенин!

Арбенин

Вечно
Мы не увидимся... прощай... Идем... идем...
Сюда... сюда...

(Вырываясь, бросается в дверь, где гроб ее.)

Князь

Остановите!..

Неизвестный

И этот гордый ум сегодня изнемог!

Арбенин

(возвращаясь с диким стоном)

Здесь, посмотрите! посмотрите!..

(Прибегая на середину сцены.)

Я говорил тебе, что ты жесток!

Падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и Неизвестный стоят над ним.

Неизвестный

Давно хотел я полной мести,
И вот вполне я отомщен!

Князь

Он без ума... счастлив... а я? навек лишен
Спокойствия и чести!

Конец

Проза

ПАНОРАМА МОСКВЫ

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более строй-

ный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные купола церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение)

на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного — но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? — рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокойно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая доли-

на, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?..

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..

Юнкер Л. Г. Гусарского полка *Лермантов*

1833—1834

КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ

Роман

ГЛАВА I

Поди! — поди! раздался крик!
Пушкин

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой и мечтая о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник и сумерки; казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умиленьем, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляп-

кой и, смутившись, извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! Молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою; долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы — и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; самые же ужасные мучители его были извозчики,— и он ненавидел извозчиков; «Барин! куда изволите? прикажете подавать? подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «Берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан и развевался воротник серой шинели. Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «Задавил, задавил»,— извозчики погнались за нарушителем порядка, но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь прийти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

— Ну, сударь,— сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой,— Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... Она все-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу; об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность —

к несчастию, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века — если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение,— и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению.

Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было двадцать три года, и что у родителей его было три тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии,— последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, шестнадцатилетней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе с помощию божией, и хорошенького личика, и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей взошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать... «Я обедать не буду,— был ответ,— я завтракал!..»

Потом взошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький и с виду большой плут, и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

— Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем,— отвечал Федька,— и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

— Что ж ты принес ее ко мне?

— Да я думал, что это все равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

— То есть тебе хочется узнать, что тут написано.

— Да-с,— эти господа никогда еще у нас не были.

— Я тебя слишком избаловал,— сказал Печорин строгим голосом,— набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч — она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. Но любопытство превозмогло, он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина; на ней было напечатано готическими буквами: «князь Степан Степаныч Лиговской, с княгиней». Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания,— то улыбаясь, то хмуря брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела — и на ней едва только можно было разобрать «Степан Степ...».

Печорин положил эти бренные остатки на стол, сел опять в свои кресла и закрыл лицо руками,— и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову — и увидел перед собою в сумраке что-то белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то, по крайней мере, от этой комнаты...

— Кто это? — спросил он.

— Я! — отвечал принужденный контральто — и раздался звонкий женский хохот.

— Варенька! какая ты шалунья.

— А ты спал!.. ужасно весело!..

— Я бы желал спать. Оно покойнее!..

— Это стыд! отчего нам на балах, в обществах так скучно!.. вы все ищете спокойствия... какие любезные молодые люди...

— А позвольте спросить,— возразил Жорж, зевая,— из каких благ мы обязаны забавлять вас...

— Оттого, что мы дамы.

— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скучно...

— Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою?

— Моды, новости... разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны...

— Какие тайны? у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...

— Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. Она была вместе и кабинет и гостиная и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером, или когда солнце ударяло в стеклы, опускались пунцовые шторы,— противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипою картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей; по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемою сеткой зеленого плюща, по другую — кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом... на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини... остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; одна-единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо,— казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло́

и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания — и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

— Что это такое? «Степан Степ...» А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговской!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем,— она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. кто же сжег эту карточку... Ее бы надо подать маменьке!

— Кажется, я,— отвечал Жорж,— раскуривал трубку!..

— Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. я ей скажу, скажу — непременно!.. впрочем, нет!.. теперь ей, должно быть, все равно!.. она ведь замужем!..

— Ты судишь очень здраво для твоих лет!..— отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

— Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в семнадцать лет так же благоразумна, как мужчина в двадцать пять.

— Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р***.

— Какая тоска! — воскликнул Жорж.— Надо ехать.

— Там будет mademoiselle Negouroff!..— возразила иронический тоном Варенька.— Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у нее глаза! прелесть!..

— Как угль, в горниле раскаленный!..

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

— Смейся!.. а сам неравнодушен...

— Положим.

— Я и это расскажу Верочке!..

— Давно ли ты уверяла, что я для нее — все равно!..

— Поверьте, я лучше этого говорю по-русски — я не монастырка.

— О! совсем нет! очень далеко...

Она покраснела и ушла...

Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день... они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намек на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились,— одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: «Милостивой гос. Елизавете Львовне Негуровой в собственные руки»; потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту — да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию господина, стрелой помчался в лавочку, а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

ГЛАВА II

Давали Фенеллу (четвертое представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За пятнадцать рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась и в ложи не все еще съехались; между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множест-

во бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы... ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья... В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек и не встречая чересчур строгих и неприступных дев,— в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки — а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие — сатира,— стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала во все горло; Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад, она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; все было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно — и он желал бы очень наконец увидать людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился,— и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неиз-

вестной, чтоб разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно,— раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как назло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс — ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александринского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парою хромых кляч, теснились возле узких дверей театра и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрыпучие подножки, толпа усатых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоем, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушал разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим, стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор; Печорин à propos [1] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола,

---

[1] Между прочим *(франц.)*.

сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся — молчание продолжалось с минуту — сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул служителя: «Что стоит посуда?» — ему сказали цену втрое дороже.

— Этот чиновник так был неловок, что разбил ее,— продолжал Жорж холодно,— вот деньги,— он бросил деньги на стол и прибавил: — Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он все получил, и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... все равно, вы теряете все: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкрутство — бесчестие неизгладимое,— достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «Бог его знает, какой он человек»,— и папеньки прибавляют: «Мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив:

— Я имею с вами поговорить!

По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

— Извольте говорить,— отвечал он небрежно,— только не здесь, на морозе.

— Пойдемте в коридор театра! — возразил чиновник. Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь,— голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели,— милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет,— отвечал Жорж,— и вы могли бы объясниться при всех,— я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу... когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра?.. я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере, разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно,— прибавил он, насмешливо поклонившись...

— Милостивый государь! — отвечал он, задыхаясь,— вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? Я беден! да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек, не только дворянин! А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев.— И точно, некоторые из них, спавшие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

— Какое дело мне до них! пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения... Если угодно, завтра в восемь часов я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес...

— Драться! я вас понимаю! насмерть драться!.. и вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. нет, я б желал, чтоб вы жили вечно и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет! тут успех слишком неверен...

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать,— возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

— Нет, постойте,— сказал чиновник, придя несколько в се-

бя,— и выслушайте меня!.. вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов?.. Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить пять рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных — у меня одна мать, старушка... я все для нее: я ее провидение и подпора... она для меня: и друзья и семейство; с тех пор как живу, я еще никого не любил, кроме ее: потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду...— Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...— И вы думали, что я с вами буду драться?..

— Чего ж, наконец, вы от меня хотите? — сказал Печорин нетерпеливо.

— Я хотел вас заставить раскаяться.

— Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

— А разве задавить человека ничего — шутка — потеха!

— Я вам обещаюсь высечь моего кучера...

— О, вы меня выведете из терпения!..

— Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал, и наконец он воскликнул: «Нет, не могу, не погублю ее!..» — и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вослед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

ГЛАВА III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда,— и поэтому я перескочу через остальные три акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александринского театра; замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев; дамы, закутавшись и прижавшись к стенам и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высо-

кого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок,— и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей, не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими,— кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. Это была миньятюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом:

— Отчего вы так серьезны, monsieur George?[1] вы недовольны спектаклем?

— Напротив, я во все горло вызывал Голланда!..

— Не правда ли, что Новицкая очень мила!..

— Ваша правда.

— Вы от нее в восторге?

— Я очень редко бываю в восторге.

— Вы этим никого не ободряете! — сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться.

— Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении!..— отвечал Печорин небрежно.— И притом восторг есть что-то такое детское...

— Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

— Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул и долговязый лакей повторил за ним: «Карета князя Лиговскóва!..» С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба,— дверцы хлопнули,— «на Морскую! пошел!..» Интересную карету заменила другая, может быть не менее интересная — только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня

---

[1] Господин Жорж *(франц.)*.

сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы — о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьею полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века.

— Вот, например, Печорин,— говорил он,— нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, пятидесяти пяти лет), нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб все по углам с дочкой перешептываться да глазки делать... что это нынче, страм смотреть!.. и девушки не те стали!.. бывало, слово лишнее услышат — покраснеют, да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, двадцати пяти лет девка, так на шею и вешаешься... замуж захотелось!..

Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах... и она не могла произнесть ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

— Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая!.. Печорин жених богатый... хорошей фамилии — чем не муж? ведь не век же сидеть дома... слава богу — что мне ее наряды-то стоят... а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь?.. да кабы замуж не выходили, так что бы было...— и прочее.

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем... дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату, а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышеска-

занные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..

Лизавета же Николавна... о! знак восклицания... погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горничную Марфушу — толстую, рябую девищу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху... Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья, приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ... о любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения — то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плеча; но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман; Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате... книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала все свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эмиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин без сердца.

Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более что для объяснения следующих происшествий это необходимо.

Она родилась в Петербурге и никогда не выезжала из Петербурга,— правда, один раз на два месяца в Ревель на воды... но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас в России несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко: бог знает какая попадется: здесь так много всяких... Елизавета Николавна осталась вовсе без мадамы — по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось тринадцать лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее... Пятнадцати лет ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилетнюю, и до двадцати пяти лет условный этот возраст не изменялся... Семнадцать лет точка замерзания; они растягиваются сколько угодно, как резиновые помочи. Лизавета Николавна была недурна и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашлись поклонники. Это все были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты,— после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль

непреклонной... и к тому же они все были прескучные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло; она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора — и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия — увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и, наконец, для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорить ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается,— и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николавну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николавна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею при-

стально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок. Лизавета Николавна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

— Где вы скрывались,— сказал он,— я искал вас везде — приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

— Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

— Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался все далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется, двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она, по крайней мере, их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николавна была также этим очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили, однако же, его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеивать как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона ***. Печорин, по обыкновению, танцевал первую кадриль с Елизаветою Николавною.

— Как хороша сегодня меньшая Р.,— заметила Елизавета Николавна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:

— Да, она прекрасна. С каким вкусом перевиты эти пунцо-

вые цветы в ее густых, русых локонах; я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

— О, без сомнения, вы очень любезны,— отвечала она, вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р..., или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин — кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Елизавете Николавне, и та ее спросила с ироническою улыбкою:

— Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

— Il est très aimable [1],— отвечала Р.

Это был жестокий удар для Елизаветы Николавны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-помалу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с двадцатью тысячами доходу, правда, что он стар и в параличе, да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмехается».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николавна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступиться, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невоз-

---

[1] Он очень любезен *(франц.)*.

можно. В таком положении мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле с книжкою в руках — и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракула, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая государыня!

Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил — он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени.

Вследствие чего остаюсь

ваш покорнейший слуга:

Каракула».

От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Елизавету Николавну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене; казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если б вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай, по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.
— Доложить-с.
— О ком?
— Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...
— Где он?
— У крыльца остановился.

Лизавета Николавна покраснела, потом снова побледнела и... потом отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще приедет,— прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу,— то не принимать!

Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.

ГЛАВА IV

Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился; он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу; утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце не способно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Чрез несколько минут он должен был увидеться с женщиною, которая была постоянною его мечтою в продолжение нескольких лет, с которою он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность — и сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые, подобно тяжелым облакам, осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление

своей жизни. Наконец, дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом, дома ли княгиня Вера Дмитревна.

— Князь Степан Степанович у себя-с.

— А княгиня? — повторил нетерпеливо Печорин.

— Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно,— подумал он.— Она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно для того, чтоб делать свою волю, и что же,— если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

— Пожалуйте, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сюртуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагородным выражением лица, он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам князь Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

— Mon ami[1], вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

---

[1] Мой друг *(франц.)*.

— Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама — я имел честь быть вчерась у нее с женой.

— Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодни, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «О да!» Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитревна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический, и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принесть счастие в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитревну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнована. Ее глаза то

тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались; щеки краснели и бледнели попеременно; но какая причина этому беспокойству?.. может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресающей или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств.

— Княгиня,— сказал Жорж...— извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть... но когда взошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости...

— Я постарела, не правда ли,— отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

— О! вы шутите! разве в счастии стареют... напротив, вы пополнели, вы...

— Конечно, я очень счастлива,— прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... впрочем, вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любезностию, умом и талантами вашего супруга... (барон сделал утвердительный знак головой),— княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

— Я вам отплачу комплиментом за комплимент, monsieur Печорин... вы также переменились к лучшему.

— Как быть? время всесильно... даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям — вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студентского сюртука ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастие вам нравиться больше, чем прежде... вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отмстить за эпиграмму.

— Прекрасно! — воскликнула она,— вы отгадали... а точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир истинная диковинка!..— Она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, и Печорин на него взбесился.

— У вас такой усердный союзник, княгиня,— сказал он,—

что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитревной. Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. К счастию, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

— Вот это до тебя касается,— сказал он жене,— новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам,— сказал он, обращаясь к гостям,— петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово жена как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

— А как вы думаете,— спросил князь Степан Степаныч, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок,— сколько я за них заплатил, отгадайте!

Серьги по большей мере стоили восемьдесят рублей, а были заплочены семьдесят пять. Печорин нарочно сказал сто пятьдесят. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжебное дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, тысячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: пройдя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вослед; заметив его движение, она исчезла.

«Странно,— подумал Печорин, садясь в сани,— было время, когда я читал на лице ее все движенья мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю».

ГЛАВА V

До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите, ради бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек! Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и эксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их la bande joyeuse [1].

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей; вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери; на эти вечера съезжались и взрослые барышни и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в десять часов, их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р — вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого господина Р* называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всенощной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною; уселись в длинные линии, запряженные каждая в шесть лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

[1] Веселая шайка (*франц.*).

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее семнадцатилетняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности; кто из нас в девятнадцать лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив — стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.

Наконец приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался все время всенощной, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взволнованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов. После всенощной опять гуляли и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р—вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратить на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем.

У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р—вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие,— одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство, впрочем, очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен. Жорж туда не явился; разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели и что он все знает. Вечерние прогулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности; наконец, когда двухнедельный срок кончился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) они стояли вдвоем на балконе; какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя: и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему очень учтиво, но Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима. Жорж с покорностью и молча выслушал все как стоик; но гроза невидимая сбиралась над ним. В комитете дядюшек и тетушек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали — там, говорили они, его прошколят и выучат дисциплине.

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки; вступать в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера второго класса не должны были идти в поход. Он почти на коленах выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Чрез несколько дней Жорж приехал к Р—вым, чтобы окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав чрез другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому что, де-

скать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был ужасный удар для Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в свой полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато впоследствии — о! впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем, Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум все глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы он был переведен в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла,— ничего больше, как поклон. Печорина это огорчило — он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николавной; слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Степаныч.

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе.

ГЛАВА VI

Дни через три после того, как Печорин был у князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степаныч с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться, чтоб выйти в гостиную, когда взошел к нему артиллерийский офицер.

— А, Браницкий,— воскликнул Печорин,— я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом молодых девушек, и я один отдан им на жертву; ты всех их знаешь, сделай одолжение — останься обедать!

— Ты так убедительно просишь,— отвечал Браницкий,— как будто предчувствуешь отказ.

— Нет, ты не смеешь отказаться,— сказал Печорин; он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на трех столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усевшись вкруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой, и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру нескромными вопросами. Варенькe казалось очень приятно, что такой ловкий молодой человек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-помалу гости съезжались. Князь Лиговской и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противуположности с украшениями комнаты, легкими, как все, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин — одни полунагие, другие живописно завернутые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы — в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем, съехавшихся на пышный обед, не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но одни — чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие — из любопытства, из приличий или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирлян-

дами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху à la chinoise[1], букли à la Sévigné[2], пышные платья наподобие фижм, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие. У мужчин прически à la jeune France[3], à la Russe[4], à la moyen âge[5], à la Titus[6], гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды; кстати было бы тут привести стих Пушкина «Какая смесь одежд и лиц!». Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитревны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет тридцати, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин как хозяин избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитревны сидела по одну сторону старушка, разряженная как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую — дипломат, длинный и бледный, причесанный à la Russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После второго блюда разговор начал оживляться.

— Так как вы недавно в Петербурге,— говорил дипломат княгине,— то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как все великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь все, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Княгиня улыбнулась и отвечала рассеянно:

— Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государств! Я люблю Москву; с воспоминанием об ней связана па-

---

[1] По-китайски *(франц.)*.
[2] Как у госпожи Севинье *(франц.)*.
[3] Во вкусе молодой Франции *(франц.)*.
[4] По-русски *(франц.)*.
[5] По-средневековому *(франц.)*.
[6] Как у Тита *(франц.)*.

мять о таком счастливом времени! А здесь, здесь все так холодно, так мертво... О, это не мое мнение... это мнение здешних жителей. Говорят, что, въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился.

— Какие ужасные клеветы про наш милый город,— воскликнул он,— а все это старая сплетница Москва, которая из зависти клевещет на молодую свою соперницу.

При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтоб решить наш спор,— продолжал дипломат,— выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгого,— отвечала она.

— Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды,— возразил дипломат с самодовольной улыбкою.— Monsieur Печорин, извольте же решить.

— Мне очень жаль,— сказал Печорин,— что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако ж,— сказал он,— Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина,— отвечал Печорин, стараясь отделаться.

— Однако ж — которая...— дипломат настаивал с упорством.

— Я думаю,— прервал его Печорин,— что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастие и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.

— После такого решения, княгиня,— сказал дипломат,— я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.

— Григорий Александрович,— возразила княгиня,— не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

— Это правда,— отвечал Печорин,— я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною

смеялись и пользовались моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самою чистейшею, самою воздушной любовью для трех тысяч душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? — Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколыхались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с терпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста и важно молвила:

— Ко мне ли ваш вопрос относится?

— Если вы позволите,— отвечал Печорин.

— Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я б желал вам передать ее совсем.

— Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

— Вот адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

— Я бы желал слышать ваше мнение,— сказал Печорин,— и решился победить вашу скромность упрямством.

— Вы не первые, и вам это не удастся,— сказала она с презрительной улыбкой.— Притом я не имею никакого мнения о любви.

— Помилуйте! в ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась.

— То есть я слишком стара,— воскликнула она, покраснев.

— Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды...

— Слава богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

— Что делать! — я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

— Кто эта дама? — шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

— Баронесса Штраль,— отвечал Печорин.

— Аа! — сделал рыжий господин.

— Вы, конечно, об ней много слыхали?

— Нет-с, ничего формально.

— Она уморила двух мужей,— продолжал Печорин,— теперь за третьим, который, верно, ее переживет.

— Ого! — сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, унизанный трюфелями.

Таким образом, разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

— Если вы любите искусства,— сказал он, обращаясь к княгине,— то я могу вам сказать весьма приятную новость: картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности — глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты; и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином, он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинуясь его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

— Впрочем,— прибавил он,— хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

— Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов,— сказала Вера Дмитревна и опять устремила глаза на картину.

— Сюжет ее очень прост,— сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили,— здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем все, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницею убийства.

— Ах, это ужасно! — воскликнула княгиня.

— Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению,— продолжал Печорин,— мое истолкование совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

— Княгиня,— отвечал Печорин сухо,— я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилкою на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, оборотился к княгине:

— Так как я не имел счастия быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин все это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? с какою целью? какую пользу могло ему принесть это мелочное мщение?.. он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели: встали изо стола и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе. Некоторые мужчины, не игравшие в вист,— и в их числе князь Степан Степаныч,— пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала? — спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут: слезы их оружие нападательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: Вера Дмитревна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главною причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее,— и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело все остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в гостиную, как вдруг дверь легонько скрыпнула и взошла Варенька.

— Я тебя искала, chère amie [1],— воскликнула она,— ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитревна томно улыбнулась и сказала:

— У меня болит голова, там так жарко...

— Я за столом часто на тебя взглядывала,— продолжала Варенька,— ты все время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было так скучно.

— Мне вовсе не было скучно,— отвечала княгиня, горько улыбнувшись,— Григорий Александрович был очень любезен.

— Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович: Григорий Александрович — это так важно, точно вы будто вчерась токмо познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

— О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

Вера Дмитревна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тем, что Варенька ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитревна, к несчастию ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку

---

[1] Милый друг (*франц.*).

Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степаныч с цигаркою в зубах тщетно старался вмешиваться в их разговор. Он не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым назло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему: ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды тридцать тысяч, когда была мода проигрываться, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он, однако, слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он потому, что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря цигарку, и допивая кофе, и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский. Этот последний был одно из характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстух подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и смугловатые, местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за галстуха его выглядывала борода à la St.-Simonienne [1].

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь, получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков.

---

[1] Как у сен-симонистов (*франц.*).

— Что вы ко мне никогда не заедете? — говорил ему Браницкий.

— Поверите ли, я так занят,— отвечал Горшенко,— вот завтра сам должен докладывать министру; потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь, как отделаться, еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N., всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть, уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет познакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с казною о двадцати тысячах десятинах лесу. Наконец князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в столе разбираются его дела.

— Да-да,— отвечал Горшенко,— знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйтесь к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик князя Степана Степаныча. Ему показалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

— Да,— сказал он,— ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от князя, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю. Степан Степаныч, в восторге от его любезности, пожал ему руку и пригласил его заезжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

ГЛАВА VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в двенадцать часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

— Пожалуйте в сорок девятый нумер,— был ответ.

— А где вход?

— Со двора-с.

Сорок девятый нумер, и вход со двора! — этих ужасных слов не может понять человек, который не провел, по крайней мере, половины жизни в отыскивании разных чиновников, сорок девятый нумер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но, увы, ни на одной нет нумера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздается брань или плач детей.

— Кого вам угодно?

— Сорок девятый нумер.

— Здесь эдаких нет-с.

— Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или: «Какое вам дело, ступайте выше». Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах; чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу.

Помучившись около часу, вы наконец находите желанный сорок девятый нумер или другой столько же таинственный, и то, если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и, наконец, вскарабкавшись на четвертый этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «Здесь». Он взошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду»,— отвечал он и взошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на

четвертом этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четыреугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

— Я ищу господина Красинского, может быть, я ошибся...

— Это мой сын,— отвечала старушка,— он скоро будет.

— Если вы мне позволите подождать,— продолжал Печорин.

— Сделайте одолжение,— прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и все в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорей нашелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет шестьдесят, хотя она в самом деле была моложе; но ранние печали сгорбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: «Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым», сочинение Н. П., Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина; эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную существенность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

— Я думаю,— возразил Печорин,— что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастие была наука! дело другое!

— Разумеется,— возразила старуха,— утопающий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро все поправится. Мой сын,— продолжала она с некоторою гордостию,— имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчания она спросила:

— Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

— Мне препоручил,— отвечал Печорин,— князь Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему; у князя есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у господина Красинского. Я вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста; наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

— Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы господин Красинский, иначе бы я не имел счастия встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему препоручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

— Ну что, Станислав,— сказала она,— скоро ль тебе выйдет награждение? у нас денег осталось мало.

— Не знаю,— отвечал он отрывисто.

— Ты, верно, не сумел угодить начальнику отделения,— продолжала она,— ну что за беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покамест, если не будешь искать в людях, и бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава,— он отвечал глухим голосом:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером; пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам,— это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастия.

— Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный враг,— отвечал он.

Лицо старушки побледнело, сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же он от тебя хочет?

— Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве, когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни, и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю,— какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти; Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянной мыслию, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб выучиться повязывать галстух и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бессовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило семь часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

ГЛАВА VIII

У князя Лиговского были гости кое-кто из родных, когда Красинский взошел в лакейскую.

— Князь принимает? — спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здешние,— отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Он, верно, сейчас сам выйдет,— был ответ,— а нам нельзя!

Наконец явился швейцар.

— Князь Лиговской дома?

— Пожалуйте-с.

— Доложи, что пришел Красинский... он меня знает!

Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к князю Степан Степанычу, сказал ему тихо:

— Господин Красинский... приехал-с — он говорит, что вы изволите его знать.

— Какой Красинский? что ты врешь? — воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тот самый чиновник,— сказал он,— у которого ваше дело... я к нему нынче заезжал.

— А! очень обязан,— отвечал Степан Степаныч.

Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника.

Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле и останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих похождений во время Польской кампании. Когда Степан Степаныч ушел, он занял праздное место, чтобы находиться ближе к княгине.

— Итак, вам велели отправиться со взводом... в эту деревню,— сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

— И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая,— сказал Печорин,— мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется... а его самого отправить в главную квартиру... я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидали перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкциею.

— А есть ли у вашего пана жена или дочери? — спросил я.

— Есть, пане капитане.

— А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

— Графиня Рожа.

«Должно быть, красавица»,— подумал я, наморщась.

— Ну, а дочки ее такие же рожи, как их маменька?

— Нет, пане капитане, старшая называется Амалия и меньшая Эвелина.

«Это еще ничего не доказывает»,— подумал я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

— А что, сама графиня Рожа старуха?

— Ни, пане, ей всего тридцать три года.

— Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка. Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Все было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным как полотно. Я объявил ему мое поручение; разумеется, он уверял, что у него нет оружий, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

— Помилуйте,— отвечал я,— что за церемония.— Я, признаться, боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и взошла женщина высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу польку в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. Это была сама графиня Розалия, или Роза, по-простонародному Рожа.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

— Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожу,— воскликнула наконец молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

— Это бы случилось,— отвечал Печорин,— если б я уже не любил другую.

— Ого! постоянство,— сказала молодая дама.— Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

— Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

— Вы, однако же, вылечились?

— По крайней мере, лечусь,— отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он переменил разговор, анекдот остался неконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы; наконец подали чай, и взошел князь, а за ним Красинский, князь отрекомендовал его жене и просил садиться.

Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в пятьсот рублей. Если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы в свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

— Мы очень благодарны,— сказала она наконец,— господину Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга, и последний отвечал скоро:

— Я еще более вас должен быть благодарен господину Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; понял ли Красинский эту улыбку или же сам испугался своей смелости,— потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом,— не знаю, но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

— Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провесть в вашем обществе; прошу вас не сумневаться: я исполню все, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, но совершенно правое...

— Скажите,— спросила его княгиня с тем участием, которое так похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку,— скажите: вы, я думаю, ужасно замучены делами... я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это нестерпимо; поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело — а я до сих пор ничего еще не понимаю.

«Какой любезный и занимательный супруг»,— подумал Печорин...

— Да и зачем вам, княгиня! — сказал Красинский,— ваш удел — забавы, роскошь, а наш — труд и заботы; оно так и следует; если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец и этот разговор истощился: Красинский встал, раскланялся... Когда он ушел, то кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «Et savez-

vous, ma chère, qu'il est trés bien...»[1] Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темно-голубых глаз ни у одного чиновника на свете, и уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником... «Я непременно узнаю,— прибавил он очень серьезно,— есть ли у него университетский аттестат!..»

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы; несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. Он прежде сам восхищался благородной красотою лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты, в свою очередь, возненавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотою и обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, преувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин — расчетом или случайностью; то, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви,— пренебрегал он часто, как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе не объясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... но это *если*, это ужасное *если* почти похоже на «если» Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под

---

[1] А знаете ли, дорогая, он очень мил *(франц.)*.

конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкою зевали.

— Отчего вы сделались так печальны? — спросила наконец у Печорина кузина Веры Дмитревны.

— Причину даже совестно объявить,— отвечал Печорин...

— Однако ж!..

— Зависть!

— Кому ж вы завидуете?.. например...

— Не мне ли? — сказал князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса; Печорину тотчас пришло в мысль, что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней, как в детском заблуждении; если так, то все было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедовалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

— Нет, князь; не вам, хотя бы я мог и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского — нравиться всем с первого взгляда...

— Поверьте,— отвечала княгиня,— кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

— Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех, то где же счастие?.. Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастия... я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

— Я во всем с вами согласна, кроме того, что все на свете забывается,— есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести,— сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща, перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — бог знает куда.

Печорин с удивленьем взглянул на нее... но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! он так давно разлучен был с нею; и с тех пор он не знал ни одной подробно-

сти ее жизни... даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? мало ли могло быть у нее обожателей после его отъезда в армию; может быть, и ей изменил который-нибудь из них; как знать!..

Кто объяснит, кто растолкует
Очей двусмысленный язык...

Когда он встал, чтоб уезжать, княгиня его спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р..., ее родственницы... «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала,— прибавила она,— я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скучно...»

Печорин отвечал, что он еще не зван...

«Теперь я понимаю,— подумал он, садясь в сани,— ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера... Дай бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова... Ах! боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые... О! но если она осмелится...» Тут сани его остановились, и мысли также. Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

ГЛАВА IX

Баронесса Р** была русская, но замужем за курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С одиннадцатого часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностию быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? — думал он,— эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал и чтобы

в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? — не родня ли он князю В. или графу К. Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей бриллианты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но увы! его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезмерно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо,— подумал он, удаляясь,— будет и на нашей улице праздник»,— жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе не удивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу bluestockings [1] и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь, по-видимому так беспечно и необдуманно преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, не способны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных à la russe, скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных

[1] «Синих чулок» *(англ.)*.

высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частию дам и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое, ужасно ели мороженое. Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда: одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, короче — исполняли свою обязанность как нельзя лучше; другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке, и говорили только с дамою своего vis-à-vis [1], когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые напрокат из лавки...— я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете; судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из залы в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетами и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми — не танцующими. Одна из них была Лизавета Николавна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. (Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее,— это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Елизаветы Николавны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и наконец она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его.

— Я всегда и везде следую вашему примеру.

---

[1] Визави (напротив стоящего) *(франц.)*.

— Разве с нынешнего дня.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

— Иногда бывает слишком поздно.

— Боже мой! какое трагическое выражение!

Лизавета Николавна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

— Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю!

— А нельзя ли узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

— О, это тайна,— сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас сериозный, печальный вид, она отвечала с расстановкою:

— Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

— Но еще не забыли? — сказал он с нежностию.

— О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

— Я?

В этом *я* было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

— Да,— сказал он,— теперь я начинаю понимать: кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего намедни, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли, о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

— Но вы не знаете, что этому причиною,— сказала поспешно Елизавета Николавна,— я получила письмо от неизвестного, в котором...

— В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону,— отвечал, горько улыбаясь, Печорин.— О, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас,

верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

— Но если я не верю? — воскликнула, испугавшись, Елизавета Николавна.

— Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что...— Он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение; глаза Елизаветы Николавны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостиной княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степаныч.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшуюся перед нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее, глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительная. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l'air bourgeois...[1] — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами и отнимает все права у красоты и любезности.

Вкус, батюшка, отменная манера.

Когда княгиня поравнялась с Печориным, то едва отвечала легким наклонением головы и мимолетной улыбкой на его поклон; он хотел что-то сказать, но она отвернулась; глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать княгиню Веру, когда она из Москвы... и прочее. Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь девяносто девять знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

---

[1] У нее вид мещанки (*франц.*).

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину, чтоб возобновить прерванный разговор,— но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

— Появление этой дамы,— сказала она наконец ему,— сделало на вас очень странное впечатление!.. вы давно ее знаете?

— С детства! — отвечал Печорин.

— Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

— Как! неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. Если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она делает из него все, что хочет.

— По крайней мере, все, что можно из него сделать!..

— Однако она счастлива...

— Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

— Богатство не есть счастие!..

— Все-таки оно ближе к нему, нежели бедность: нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою гречневой каши.

— Кто ж вам говорит о бедности? везде надо уметь выбирать середину...

— Я вам желаю мужа, который бы так думал.

Он отошел. Кадрили кончались — музыка замолкала: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; составились группы. Дамы пошли в другие комнаты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние и что от них стараются отделаться; княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

АШИК-КЕРИБ

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником,— запела она,— вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала,— отвечала та,— кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб».— «Веди меня к нему»,— сказала

Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить,— отвечал Ашик-Кериб,— я тебя люблю,— и ты никогда не будешь моею».— «Проси мою руку у отца моего,— говорила она,— и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет».— «Хорошо,— отвечал он,— положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уже за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник,— он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь,— кричал ему бек,— куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед,— сказал Куршуд-бек,— я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке,— говорит он,— вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул,— сказала она ей,— Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем»,— она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф; по обыкновению, взошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу;

вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше,— закричали они,— или ты отвечаешь нам головою».— «Я человек вольный, странник из города Тифлиза,— говорит Ашик-Кериб,— хочу пойду, хочу нет; пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой»,— сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал; последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо,— говорит она,— и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое»,— сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое,— сказал купец,— я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий,— воскликнул он,— если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать»,— и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть»,— отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною»,— сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать,— отвечал Ашик,— твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою».— «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй».

Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен».— «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать».— «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче»,— отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага,— сказал Ашик,— я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс».— «То-то же,— отвечал всадник,— я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза,— теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз».— «Экой ты, неверный,— сказал сердито всадник,— но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой»,— прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство».— «Наклонись,— сказал тот, улыбнувшись,— и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии».— «Ана,— отвечал он,— я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери».— «Негодная,— отвечала старуха,— ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматри-

ваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость,— отвечала она,— будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом».— «Я уж сказал тебе,— возразил он,— что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз»,— отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя,— отвечала старуха,— это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «*Рашид* (храбрый)»,— отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид,— сказала она,— своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами».— «Не позволю,— отвечала старуха,— с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны,— «а если хоть одна струна порвется,— продолжал Ашик,— то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-

за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню».— «Почему же нет,— сказал Куршуд-бек.— Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)».— «Что это за имя,— воскликнул тот со смехом.— Я первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя».— После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в три дни».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в три дни?»

«За что ж ты меня хочешь убить,— сказал Ашик,— певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место; а я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает»,— сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву,— сказали ее подруги,— стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека».— «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос»,— отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

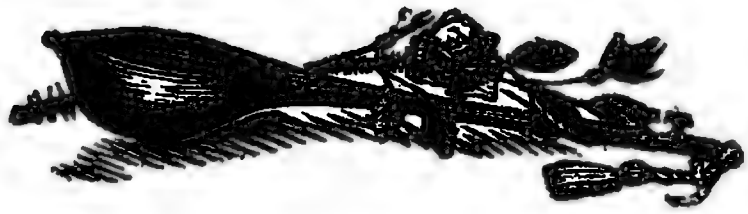
Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб,— сказал жених,—

но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины,— отвечал Ашик,— сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она,— это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб»,— и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилиаз»,— и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

1837



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё

в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что, ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастию, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Бóльшая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега.

Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица,— а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год,— отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче[1],— отвечал он, приосанившись.— Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком,— прибавил он,— и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

---

[1] Ермолове. *(Прим. Лермонтова.)*

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакой народ! — сказал он,— и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары, по мне, лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я.

Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахну́л сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать,— сказал он с досадою,— в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин,— отвечал осетин-извозчик,— а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он.— Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода,— знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед

ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику,— у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт на́веселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы,— продолжал он,— как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирно́ва князя был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно,— спросил я его,— переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан»,— отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста,— к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем

стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирно́й князь. Сынишка́ его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы,— говорил я ему,— яман[1] будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках»,— сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-

---

[1] Яма́н *(тюрк.)* — плохо, худо.

нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честну́ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он.— А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою»,— отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай,— хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде,— и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Быва-

ло, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга,— подумал я,— уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: *«Якши тхе, чек якши!* [1]»

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я,— уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат,— если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да,— отвечал Казбич после некоторого молчания,— в целой Кабарде не найдешь такой. Раз,— это было за Тереком,— я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться,— и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убился до смерти, и я

---

[1] Якшй тхе, чек якшй! *(тюрк.)* — Хороша, очень хороша!

слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу,— смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз, все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл,— сказал Азамат,— то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— *Йок*[1], не хочу,— отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич,— говорил, ласкаясь к нему, Азамат,— ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь,— а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня,— продолжал Азамат,— когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороно́й, скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

---

[1] Йок *(тюрк.)* — нет.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат,— видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул,— и она твоя. Неужели не стóит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса [1]:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

— Плохое дело в чужом пиру похмелье,— сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку,— не лучше ли нам поскорей убраться?

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

---

[1] Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой, но привычка — вторая натура. *(Прим. Лермонтова.)*

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая,— ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой.— Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: — Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся,— такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну, уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна,— ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее, как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

— Все, что он захочет,— отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

— А мой отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен,— прошептал Азамат, бледный как смерть.— Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Азамат! — сказал Григорий Александрович,— завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю,— только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком [1].

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь!..— сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман, яман! [2] — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился

---

[1] Кунак значит — приятель. *(Прим. Лермонтова.)*

[2] Урус яман, яман! *(тюрк.)* — Русский злой, злой!

на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь? Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог,— только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже.— Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю,— отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся,— сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь.

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись,— ведь вы добрый человек,— а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее,— сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня,— прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча, — в самом ли деле он приучил ее к себе или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула,— а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

— Послушай, моя пери,— говорил он,— ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею,— отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если

так, я тебя сейчас отпущу домой.— Она вздрогнула едва приметно и покачала головой.— Или,— продолжал он,— я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула.— Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала.— Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.— Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин,— ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтобы тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

— Я твоя пленница,— говорила она,— твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить,— и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не женщина! — отвечал он,— только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он,— через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки,— устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

— Вы черкешенок не знаете,— отвечал я,— это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны.— Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к

ней. «Бэла! — сказал он,— ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу,— ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя: прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня».— Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь,— сказал он потом, теребя усы,— мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!..— Да неужели,— продолжал я,— отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь; по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали,— это было в сумерках,— он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил,— сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему,— сказал штабс-капитан,— он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем.

Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-

гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите,— прибавил он, указывая на восток,— что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую,— и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам,— воскликнул он,— что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных,— а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не

хуже их доедем: ведь нам не впервые»,— и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe [1]) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами,— не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но

[1] Le Mont St.-Christophe — гора святого Кристофа. Так французский путешественник Ж.-Ф. Га́мба (1763—1833), описывая свое путешествие по Кавказу, назвал Крестовую гору, не поняв, что название ее происходит от русского слова «крест». «Ученым» Лермонтов называет его иронически.

всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница,— думал я,— плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан,— посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

— Ваше благородие,— сказал наконец один,— ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку,— прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан,— уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако,— сказал я,— что без них нам было бы хуже.

— Все так, все так,— пробормотал он,— уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею.

— Все к лучшему! — сказал я, присев у огня,— теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше,— так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в Благородном собрании, лет двадцать тому назад,— только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами,— а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять,— целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо,— подумал я,— верно, между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера,— наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала,— отвечала она сквозь слезы,— придумывала разные несчастия: то казалось

мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

— Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке; он человек молодой, любит погоняться за дичью,— походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

— Правда, правда! — отвечала она,— я буду весела.— И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками[1], оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

— Посмотри-ка, Бэла,— сказал я,— у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

— Это Казбич!..

— Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? —

---

[1] Овраги. *(Прим. Лермонтова.)*

Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный, как всегда.

— Это лошадь отца моего,— сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! — подумал я,— и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда,— сказал я часовому,— осмотри ружье да ссади мне этого молодца,— получишь рубль серебром.

— Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...

— Прикажи! — сказал я, смеясь...

— Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой,— подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры,— как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо,— только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился,— отвечал он,— такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

— Помилуйте,— говорил я,— ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась,— он мне сам говорил,— и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно бы, посватался...

Тут Печорин задумался. «Да,— отвечал он,— надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Мак-

сим Максимыч,— отвечал он,— у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим,— но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и, чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями,— напрасно; через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров,— и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь,— только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию,— авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста,— продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне,— вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое;

что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!..— отвечал он,— да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу,— нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я,— к чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что́ задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел,— смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему,— берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уже и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую».— «Правда»,— сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет,— отвечал он,— а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот так: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)»,— отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал

на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что́ бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему,— ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч,— отвечал он,— чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. БЭЛА».

Художник Д. А. ШМАРИНОВ.

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е.....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже,— вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что́ сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки,

с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского фигаро.

— Скажи, любезный,— закричал я ему в окно,— что́ это — оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

— Слава богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время.— Экая чудная коляска! — прибавил он,— верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англинскую!

— А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена

дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец,— спросил у него штабс-капитан,— чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!..

Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал:

— Я тебе говорю, любезный...

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?..— воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется,— да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели,— прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь: вы мне мешаете,— сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч,— или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!..— сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом,— пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я незнаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

— Максим Максимыч, не хотите ли чаю? — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.
— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.
— Ничего, благодарствуйте...
— Ну, как угодно!

Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

— А ведь вы правы: все лучше выпить чайку,— да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение,— он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы...— отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту,— сказал он,— так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его гос-

подин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь

равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

— Если вы захотите еще немного подождать,— сказал я,— то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

— Ах, точно! — быстро отвечал он,— мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?.. а вы?..— пробормотал со слезами на глазах старик...— Сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч,— был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что́? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

— Мы славно пообедаем,— говорил он,— у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли...— прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

— Забыть! — проворчал он,— я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

— Ну, полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески,— неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!..— Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски,— совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?

— Что хотите! — отвечал Печорин.— Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?..— кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге,— а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да,— сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах,— конечно, мы были приятели,— ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..— Эти слова были произнесены с иронической улыбкой.— Скажите,— продолжал он, обратясь ко мне,— ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!..— Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое вол-

нение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч,— сказал я, подошедши к нему,— а что за бумаги вам оставил Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

— Вот они все,— сказал он,— поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду: у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно,— сказал он заминаясь...— да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным,— и как же он был награжден!

— Очень жаль,— сказал я ему,— очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переме-

нил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они.— Не знаю.

I

ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера,— отвечал десятник, почесывая затылок,— только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыж-

ника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть,— подумал я,— завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — «Нема».— «Как? совсем нету?» — «Совсим».— «А хозяйка?» — «Побигла в слободку».— «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни».— «Кто же ты?» — «Сирота, убогой».— «А у хозяйки есть дети?» — «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином».— «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть:

передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят»,— подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

— Что, слепой? — сказал женский голос,— буря сильна; Янко не будет.

— Янко не боится бури,— отвечал тот.

— Туман густеет,— возразил опять женский голос с выражением печали.

— В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов,— был ответ.

— А если он утонет?

— Ну что ж? в воскресенье-ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав,— сказал опять слепой, ударив в ладоши,— Янко не боится ни моря, ни ветров, ни туманa, ни береговых сторожей: прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь,— это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой,— сказала она,— я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре придет почтовое судно,— сказал комендант,— и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит

везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж, видно, здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у нее нет дочери.

— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок,— сказал я, взяв его за ухо,— говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок,— но откуда?.. Прислушиваюсь... напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю
Ходят все кораблики,
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.

Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту.

Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения,— и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица,— спросил я,— что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует».— «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье».— «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится».— «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко».— «Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою; кому услыхать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет».— «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает».— «А кто крестил?» — «Почему я знаю».— «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком».— «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся,— то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она как змея скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег»,— и стрелою выскочила из комнаты.

В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета,— сказал я ему,— то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку»,— сказала моя спутница. Я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит,— отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками,— это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел,— отвечала она,— ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как,

после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко,— сказала она,— все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала»,— был ответ. Чрез несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко,— ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников».— «Только?» — сказал слепой. «Ну, вот тебе еще»,— и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?* Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в

покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Окончание журнала Печорина)

II

КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа,— а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком

и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

. . . . . .

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли,— бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или

военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами,— иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..» и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайною между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую,— сказал он, вздохнув,— пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего. На второй было закрытое платье *gris de perles*[1], легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce*[2] стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская,— сказал Грушницкий,— и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на англинский манер. Они здесь только три дня.

---

[1] Серо-жемчужный цвет *(франц.)*.

[2] Красный цвет наиболее темного оттенка *(франц.)*.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал,— отвечал он, покраснев,— признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я, усмехаясь,— а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа *à la moujik* [1].

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощию костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante [2].

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая,— сказал я ему.— У нее такие бархатные глаза — именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади,— сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher,— отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон,— je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule [3].

---

[1] По-мужицки *(франц.)*.

[2] Милый мой, я ненавижу людей, чтоб их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом *(франц.)*. (Фарс — грубая комедия.)

[3] Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой *(франц.)*. (Мелодрама — драматическое произведение, где трагическое сочетается с сентиментальным, чувствительным.)

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку,— это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

13-го мая.

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку,— поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные

медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных,— больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном...— сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том,— отвечал он,— что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас,— сказал я,— у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставив трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи,— и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор,— сказал я,— что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул...

Он отвечал, подумавши:

— В вашей галиматье, однако ж, есть идея.

— Две! — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг у друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что слушать менее утомительно; во-вторых, нельзя проговориться; в-третьих, можно узнать чужую тайну; в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении,— об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.

— Я предчувствую,— сказал доктор,— что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку.

Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками,— разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор,— продолжал я после минуты молчания,— я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет,— отвечал Вернер,— у ней прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА МЕРИ».

Художник Д. А. ШМАРИНОВ.

велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются что сорокалетними острячками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужe, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своею выразительностию.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы.— Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

— Она вам знакома!..

Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я,— только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.

— Пожалуй! — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю,— ничего!

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца.

Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости,— верно, очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?..— Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я,— вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других,— и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознаграж-

ден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да эдак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен,— продолжал я,— что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

— У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердится,— во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензий ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмо́трите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что́ княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор

у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный, тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня,— отвечал я ей,— он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери, моя Sophie*[1], если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные,— и тут-то я буду наслаждаться...

. . . . . .

---

[1] Софи́ (*франц.*).

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом его вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь,— сказала она.

Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались,— сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!..— сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься...— Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне,— наконец прошептала она,— тебе очень весело меня мучить?.. Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...— Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть,— подумал я,— ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем — тем хромым старичком, которого я видел ме́льком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца,— и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в,— дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь,— теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами,— и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente[1] — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

---

[1] Изнурительная лихорадка *(франц.)*.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью,— и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять или это только ее прощальный взгляд, последний подарок — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил

я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит *en piquenique*[1]. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским;* впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора.

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер,— страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив...— сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un Circassien!..[2] — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame,— je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier [3].

Она смутилась,— но отчего? от своей ошибки или оттого,

---

[1] На пикник, загородную прогулку *(франц.)*.

[2] Боже мой, черкес!.. *(франц.)*

[3] Не бойтесь, сударыня, я не более опасен, чем ваш кавалер *(франц.)*.

что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» — думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской,— сказал он очень важно.— Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему,— я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!..— сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я,— у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем, для тебя же хуже,— продолжал Грушницкий,— теперь тебе трудно познакомиться с ними,— а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой,— сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься,— я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежные взгляда,— надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистию и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из чер-

ной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!..[1] И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur»[2].

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще бóльшую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?..

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит,— подумал я,— что их двери для меня навеки закрыты».

— Знаете, княжна,— сказал я с некоторой досадой,— никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

---

[1] Это забавно!.. *(франц.)*

[2] Благодарю, сударь *(франц.)*.

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке, с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— ...Пермете...[1] ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками,— разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure...[2] Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться,— потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы,— прибавила она,— но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... Не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

---

[1] Перметé (франц. permettre) — позвольте.

[2] Pour mazure (искаженное франц. вместо pour la mazourka) — на мазурку.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться,— продолжал я,— потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все! Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных,— сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!..

— А разве он юнкер?..— сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он,— так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше,— отвечал я ему,— спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте,— о вы, отгадывающий все на свете!

23-го мая.

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

— Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности,— отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? А вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

— Послушай,— сказал Грушницкий очень важно,— пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером; обещай мне замечать все: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод,— отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно.— Впрочем, переменим материю,— и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет,— и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ли ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое

блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь,— я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Charmant! délicieux!» [1]

— Послушай,— говорила мне Вера,— я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомненьями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно,— сказала она,— что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?

— Напротив... после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в меди-

---

[1] Очаровательно! прелестно! *(франц.)*

цинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие,— вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну что?

«Ты глуп»,— хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой, но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй — рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия! — сказала она мне вчера.— Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим,— прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно, Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю

на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права,— не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью,— лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею,— он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю,— сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает,— прибавил Грушницкий мне на ухо,— сколько надежд придали мне эти эполеты... О эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она?..— отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись,— мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась, я начал шутя — и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне,— я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня,— я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм,— другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их,— меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир,— меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил,— тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала,— а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не сме-

шили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой — и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку: все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему все это клонится,— говорила мне Вера,— лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что, в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз,— сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены,— сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени окна, погружась в широкие кресла... Мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви,— разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы,— ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен,— лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку,— я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле? — сказал он, ударив себя по лбу.— Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда.— Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг Собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий,— вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились,— отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений,— отвечала она, смеясь...

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен,— отвечал я,— в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь,— сказал я княжне,— что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-à-vis [1]; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя,— сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

---

[1] Друг против друга *(франц.)*.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом.— Она мне призналась...

— Ну, так что ж?.. А разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на́ свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари — только не совсем,— сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мною, ей мешают,— ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь,— сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов,— вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь,— без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла,— больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне,— я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то — и не могли: глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее за руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли,— спросил он,— что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают!

«Это шутки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет, она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи...— прибавил он, хитро улыбаясь,— в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние — пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

10-го июня.

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались

у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и, наконец, кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге,— а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня; но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит,— следовательно...

Тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частью язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется.

Что́, если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием.

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью,— мне, который, кроме их, на свете ничего не любил,— мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи,— говорил он,— на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо,— мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом;* это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на

закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уже на средине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! — шепнул я ей,— это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы.— Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли,— прибавила она голосом нежной доверенности,— не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..— В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она,— вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!

Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он,— это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус,— да, трус!

— Я думаю то же,— сказал Грушницкий.— Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну,— сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий,— о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан.— Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия — будет как можно торжественнее и ужаснее,— я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит,— на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано! согласны! почему же нет? — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? — думал я.— За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате.— Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... Может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше по-

ведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину,— отвечал я княжне,— не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня,— сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son cœur et sa fortune[1]; но над мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться,— прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены;* это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере, буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум.* На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник,

[1] Свое сердце и состояние *(франц.)*.

акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя; приходи непременно».

«А-га! — подумал я,— наконец-таки вышло по-моему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор: лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь все, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки ревности, жалобы,— она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перене-

сет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..

. . . . . .

. . . . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос,— попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!..— кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?..— кричал капитан.

— Сплю,— отвечал я сердито.

— Вставайте! воры... черкесы...

— У меня насморк,— отвечал я,— боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать

черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он,— ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличило его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то,— видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю,— отвечал Грушницкий,— только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли,— продолжал Грушницкий,— мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной,— наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он,— даю вам честное, бла-

городное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин,— отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас,— продолжал я тем же тоном,— прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уже доказали,— отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого — и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали,— отвечал он,— я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью,— прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта,— прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах.— Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени,— продолжал он.— Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас точно есть заговор,— сказал он.— Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий,— он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан,— я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны; я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине,— я велел сказать, что болен.

. . . . . .

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче;

но только проснулся — мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту... я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни!.. Скучно!.. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему.— Раз-

ве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной,— и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете над мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились,— мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор,— отвечал я ему,— чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой

и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему,— бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй? Посмотрите, доктор: видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

— Мы давно уж вас ожидаем,— сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется,— сказал он,— что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов,— сказал я

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия,— сказал он,— и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться.

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте,— сказал он с явным беспокойством,— вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко,— драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы,— отвечал капитан.— Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я,— еще одно условие; так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и

стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко,— ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь,— сказал доктор, пожав мне крепко руку.— Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему,— не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы,— сказал я Грушницкому,— вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дергая за рукав,— если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку,— вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу,— сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал капитан,— теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха.— Не бойся,— прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого,— все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами

обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо, раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу,— сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан,— вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова,— и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан,— не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану,— если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора...— Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки,— Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец,— сказал он,— пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха...— Он отвернулся и, отходя, пробормотал: — А все-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я,— еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни — мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он,— я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia! [1] — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

---

[1] Комедия окончена! *(итал.)*

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то́ была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, что ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься

жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла,— но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить,— не говорю уж любить,— нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо..

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Есентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым.

Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук,— и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень,— и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства,— а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость

взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N., я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? — я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело; пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена,— продолжала она,— хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее,— следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признáетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства,— разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа,— я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня,— сказал я,— мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите,— отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее,— а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна,— сказал я,— вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите,— сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою,— вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу...— сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком,— и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить

на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III

ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra [1].

— Все это, господа, ничего не доказывает,— сказал старый майор,— ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения?

— Конечно, никто,— сказали многие,— но мы слышали от верных людей...

— Все это вздор! — сказал кто-то,— где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?..

---

[1] «За» или «против» *(лат.)*.

И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал, и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его,— все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками,— которых прелесть трудно постигнуть, не видав их,— он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка»,— отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уже сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидев его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного),— господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, мо-

жет ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон,— вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари,— сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения,— сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев,— все, что было у меня в кармане.

— Держу,— отвечал Вулич глухим голосом.— Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев: остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо,— сказал майор,— только не понимаю, право, в чем дело, и как вы решите спор?..

Вулич молча вышел в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку порох, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки,— кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знáком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись: но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете! — сказал я ему.

Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть, да, может быть, нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то,— уж, верно, заряжен, коли в головах висел; что за охота шутить!..

— Глупая шутка! — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте,— сказал я,— или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется,— воскликнули многие,— пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места! — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин,— прибавил он,— возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу! — вскрикнули многие,— не заряжен...

— Посмотрим, однако ж,— сказал Вулич.— Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался — дым наполнил комнату! Когда он рассеялся, сняли фуражку; она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить; Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре! — сказал я Вуличу...

— В первый раз от роду,— отвечал он, самодовольно улыбаясь,— это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что, вы начали верить предопределению?

— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно! — сказал он, вставая,— пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны...— Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли! И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услуж-

ливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услыхал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак,— как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя»,— сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит! — продолжали они,— пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный

казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — «*Тебя!*» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы: мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди них бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч,— сказал есаул,— так уж нечего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе,— поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович,— сказал есаул, подойдя к майору,— он не сдастся — я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите,— сказал я майору,— я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул,— что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движением казака, не ожидавшего с этой стороны нападения,— и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся, офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения; он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату

неприличны: приклад маленький,— того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

1841

КОНЕЦ

Комментарии

СТИХОТВОРЕНИЯ

1837

СМЕРТЬ ПОЭТА

(Стр. 21)

«Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы...» — Убийца Пушкина Жорж Дантес плохо знал русский язык и не считался с национальным достоинством русских людей.

«Как тот певец, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такою чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой».— Ленский, воспетый Пушкиным в «Евгении Онегине» и, подобно Пушкину, убитый на дуэли.

Терновый венец — венец из терновых ветвей, колючий, символ страданий, мучений.

«Надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...» — Царедворцы из неродовитых фамилий, вошедшие в силу благодаря случаю, придворным интригам и связям.

«Игрою счастия обиженных родов!..» — Лермонтов имеет в виду судьбу тех дворян, предки которых, подобно предкам Пушкина, впали в немилость и пострадали от гонений еще в XVIII веке. О судьбе своих предков Пушкин писал в стихотворении «Моя родословная».

БОРОДИНО

(Стр. 23)

В царствование Николая I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет, и в 30-х годах в армии еще продолжали служить ветераны Отечественной войны 1812 года. Стихотворение Лермонтова построено в виде диалога между солдатами разных поколений, поэтому молодой и называет своего собеседника «дядей».

В девяноста восьми строках рассказано об одном из самых великих дней русской истории — о Бородинском сражении под Москвой, близ Можайска, 7 сентября 1812 года, когда русские войска под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова одержали победу над считавшейся непобедимой армией французского императора Наполеона.

Война в этом стихотворении показана так, как видел ее простой русский солдат, рядовой участник великой исторической битвы. Это — первое в русской поэзии стихотворение, в котором изображен главный герой Отечественной войны — народ.

Мусью — насмешливое обращение к французу: по-французски «мосье» значит «господин», «сударь».

Картечь — артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями.

Лафет — станок под артиллерийское орудие, подставка.

Бивак, или бивуак,— стоянка войск для отдыха или ночлега под открытым небом.

Кивер — высокий военный головной убор из твердой кожи.

Булат — кинжал или сабля из булатной стали, обладающей особой закалкой.

Бусурман — так называли в народе всякого иноверца.

ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

(Стр. 25)

Иордан — река в Палестине.

Ливан — здесь: горный кряж.

Солим (Ерусалим) — город в Палестине.

Дольный прах — пыль долины.

Кивот, или киот,— божница, небольшой застекленный ящик для икон.

УЗНИК. СОСЕД

(Стр. 26, 27)

Эти стихотворения Лермонтов написал, сидя в заключении за стихи на смерть Пушкина.

«КОГДА ВОЛНУЕТСЯ ЖЕЛТЕЮЩАЯ НИВА...»

(Стр. 28)

Один из писателей прошлого века, хорошо знавший сельскую жизнь, прочитав это стихотворение, упрекнул Лермонтова в неточности, ибо ландыш не цветет в то время, когда желтеет нива, а нива не желтеет в пору созревания плодов. Это — следствие неверного понимания текста. Лермонтова надо понимать так: и тогда, когда волнуется желтеющая нива, и когда зреют сливы, и когда приветливо качает головой ландыш — во всех случаях, когда поэт соприкасается с природой, он испытывает ощущение высшей гармонии.

МОЛИТВА («Я, матерь божия, ныне с молитвою...»)

(Стр. 28)

Возможно, что стихотворение написано в Москве в 1837 году, перед отъездом на Кавказ. «Молитва» относится, очевидно, к Варваре Лопухиной.

«СПЕША НА СЕВЕР ИЗ ДАЛЕКА...»

(Стр. 29)

Написано по возвращении из ссылки «на север» — в Россию. Напечатано после смерти Лермонтова, в 1845 году.

1838

КИНЖАЛ

(Стр. 30)

Кинжал в поэзии тех лет — символ вольности. Написано стихотворение сразу же по возвращении из ссылки. Поэтому Лермонтов и называет себя иносказательно странником.

«ОНА ПОЕТ — И ЗВУКИ ТАЮТ...»

(Стр. 31)

Стихотворение обращено, по предположению исследователя творчества Лермонтова Э. Э. Найдича, к известной певице П. А. Бартеневой, с которой поэт был знаком. К ней обращены, очевидно, и два следующих стихотворения: «Как небеса, твой взор блистает...» и «Слышу ли голос твой...»

ДУМА

(Стр. 32)

Дума — поэтическая форма, которую широко использовали поэты-декабристы, в частности Кондратий Рылеев, напечатавший свои знаменитые «Думы», полные гражданского пафоса. Следуя декабристам, Лермонтов по возвращении из ссылки печатает «Думу», в которой обращается к своим современникам с упреком в малодушии, в отказе от гражданской борьбы: они не желают служить самодержавию, но в то же время отказались от борьбы с ним и от всякого участия в общественной жизни. Это — первое стихотворение, появившееся в журнале за подписью Лермонтова после возвращения его из ссылки.

ПОЭТ

(Стр. 34)

Образ кинжала, служивший в поэзии 20—30-х годов XIX века символом вольности, Лермонтов слил в этом стихотворении с образом поэта-тираноборца, стих которого должен звучать подобно вечевому колоколу. Самые слова: «вечевой колокол», «кинжал», «клинок», «пророк», «голос мщенья» — понимались читателями того времени как призыв к борьбе за свободу.

Бранный — боевой.

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(Стр. 35)

Сохранилось предание, что Лермонтов написал это стихотворение в станице Червленой, на Тереке. Будто бы, войдя в хату, где ему была отведена квартира, он застал там молодую казачку, напевавшую песню над колыбелью сына своей сестры. Казак Борискин рассказывал, что, пока он переносил в комнату вещи, Лермонтов, присев к столу, успел набросать на клочке бумаги свою «Казачью колыбельную песню». А потом прочел ее Борискину, чтобы узнать его мнение.

В этой песне — вся будущая судьба ребенка: военная служба, разлука с родными, походы, сражения, героические подвиги, а может быть, и гибель вдали от родной станицы. В этой песне — все чувства матери. По словам Белинского, Лермонтов сумел передать все, что есть беззаветного в любви матери: весь трепет, всю ее страсть, и кроткую нежность, и безграничную бескорыстную преданность.

Стихотворение Лермонтова напоминает некоторые песни гребенского казачества, которые и до сих пор поются в казачьих станицах на Тереке. И само это стихотворение давно уже стало народной песней.

1839

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

(Стр. 36)

Эпиграф заимствован из «Пролога» к сборнику «Ямбы» французского поэта Огюста Барбье. В первом стихе эпиграфа Лермонтов изменил одно слово, поставив вместо «Que me font» («Какое *мне* дело») — «Que nous font» («Какое *нам* дело»).

В стихотворении идет речь о высокой общественной роли поэзии, о роли поэта, который должен ставить перед читателем важнейшие вопросы современной жизни.

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Стр. 38)

Ту жажду деятельности, которая томила лучших людей его поколения, Лермонтов сообщил и трем пальмам. И показал, что осуществление мечты невозможно для них точно так же, как и для его современников.

Ф а р и с (арабск.) — всадник, витязь.

МОЛИТВА («В минуту жизни трудную...»)

(Стр. 39)

Лермонтов говорит о «созвучии слов», об их «непонятной прелести» — о магическом значении слова.

ДАРЫ ТЕРЕКА

(Стр. 40)

Лермонтов часто бывал на Тереке в гребенских казачьих станицах и слышал казачьи песни, в которых буйный Терек и синий Каспий опоэтизи-

рованы, наделены человеческими страстями. В своей балладе Лермонтов олицетворил природу Кавказа в духе народной поэзии.

Валу́ны (валуны́) — огромные округлые камни.

Кольчуга — рубашка, спаянная из металлических колец, предохраняющая от ударов кинжала и сабли.

Коран — священная книга мусульман.

ПАМЯТИ А. И. ОДОЕВСКОГО

(Стр. 42)

Александр Иванович Одоевский — поэт-декабрист, за участие в восстании 14 декабря 1825 года был отправлен в сибирскую ссылку. В 1837 году его перевели солдатом на Кавказ, в полк, куда в тот же год был сослан и Лермонтов. Они подружились. Приказ о переводе Лермонтова в Россию разлучил их. В 1839 году, находясь в Петербурге, Лермонтов узнал о том, что Одоевский погиб от лихорадки на берегу Черного моря. Лермонтов не мог назвать в печати имени погибшего декабриста, и стихотворение появилось в «Отечественных записках», 1839, № 12, под заглавием «Памяти А. И. О — го».

«КАК ЧАСТО, ПЕСТРОЮ ТОЛПОЮ ОКРУЖЕН...»

(Стр. 44)

В стихотворении содержится намек на встречу Лермонтова на великосветском балу с одной из высокопоставленных дам, принадлежавших к царской фамилии. Ныне высказывается предположение, что Лермонтов выставил дату «1-е января» для того, чтобы отвести от себя возможные неприятности, так как на балу, где видели Лермонтова — в ночь под новый, 1840 год,— высокопоставленных дам не было.

И СКУЧНО И ГРУСТНО

(Стр. 45)

В этом стихотворении Лермонтов говорит о настроении, охватившем передовых людей его поколения, которое вступило в жизнь после разгрома декабрьского восстания 1825 года, в пору глубокого общественного застоя и жестокого полицейского режима Николая I,— поколения, обреченного на бесплодную растрату лучших сил. Отрицая современную ему действительность, Лермонтов влиял на общественное сознание, возбуждал протест и жажду борьбы.

ИЗ ГЁТЕ

(Стр. 46)

Свободный перевод второй части стихотворения Гёте «Wanderers Nachtlied» («Ночная песнь странника»), в текст которой Лермонтов вложил другой смысл.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

(Стр. 46)

Стихотворение представляет собою коренную переделку баллады австрийского романтика И.-Х. Цедлица (Лермонтов пишет «Зейдлица») «Корабль призраков».

Лермонтов считал, что Наполеон продолжал дело французской буржуазной революции 1789 года и что после падения Наполеона новые правители буржуазной Франции растоптали революционные завоевания.

СОСЕДКА

(Стр. 48)

Написано в 1840 году, в тюрьме, в ту пору, когда Лермонтов был арестован за дуэль с сыном французского посла Баранта. Очевидцы утверждали, что соседка была дочерью не тюремщика, а чиновника, служившего при ордонанс-гаузе — петербургской офицерской тюрьме.

ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

(Стр. 49)

Эпиграф представляет собою прозаический перевод двустишия Гёте из его «Изречений в стихах».

В этом стихотворении отражена полемика между «Отечественными записками» (во главе их стоял Белинский) и реакционным журналом «Сын отечества», резко нападавшим на Белинского, на позицию «Отечественных записок» и злобно критиковавшим стихи Лермонтова и его общественную позицию.

ПЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ

(Стр. 54)

Судьба пленного рыцаря — это как бы судьба самого Лермонтова, хорошо понимавшего, что новая ссылка грозит ему неизбежной гибелью.

БЛАГОДАРНОСТЬ

(Стр. 55)

Лермонтов иронически благодарит бога за свою жизнь, исполненную страданий. По мысли поэта, бог является виновником мирового зла.

РЕБЕНКУ

(Стр. 55)

Считают, что стихотворение обращено к ребенку В. А. Лопухиной-Бахметевой. Поэт любил ее и знал, что она, вышедши замуж за другого, тоже любит его, Лермонтова. Но у Лопухиной была дочь, а в тексте стихотворения о ребенке говорится в мужском роде: «Ты на нее похож». Один из исследователей поэзии Лермонтова высказал правдоподобное предположение: ввиду того, что Лермонтов решил напечатать эти стихи в своей книжке, он ввел в текст изменения, затрудняющие прямые житейские параллели.

А. О. СМИРНОВОЙ

(Стр. 56)

Отличавшаяся редкой красотой и умом, Александра Осиповна Смирнова (Россет), придворная дама и приятельница Пушкина, Жуковского, Вяземского и многих других выдающихся своих современников, была знакома и с Лермонтовым. Приехав к ней однажды с визитом и не застав ее, Лермонтов вписал в ее альбом эти строки.

К ПОРТРЕТУ

(Стр. 56)

В 1840 году парижский художник Греведон литографировал портрет известной петербургской красавицы, графини А. К. Воронцовой-Дашковой; Лермонтов был хорошо с ней знаком и относился к ней дружески. Увидев ее новый портрет, он написал эту характеристику.

ТУЧИ

(Стр. 57)

Весной 1840 года дело о дуэли Лермонтова с Барантом окончилось приговором, по которому поэт снова отправлялся в кавказскую ссылку.

Перед отъездом из столицы он заехал проститься к Карамзиным — друзьям, жившим напротив Летнего сада. Рассказывают, что, подойдя к окну и увидев плывшие над садом тучи, Лермонтов тут же сочинил эти стихи, построенные на противопоставлении: тучи — свободные, он — изгнанник, ссыльный; тучи — холодные, а в душе поэта кипят страсти, он страдает от разлуки с родиной. Он — жертва зависти, злобы и клеветы.

<ВАЛЕРИК>

(Стр. 57)

1 июля 1840 года в Чечне на речке Валерик произошло одно из самых кровопролитных сражений кавказской войны. Лермонтов участвовал в этом сражении и воспроизвел его в стихотворении с большой достоверностью.

Ермолов Алексей Петрович — генерал, участник суворовских походов и Отечественной войны 1812 года. Имя его в кавказских войсках пользовалось большой популярностью.

Мирно́й татарин — на языке кавказских воинов того времени значило: горец, магометанин, признавший власть русских.

Намаз — религиозный обряд у магометан.

Ноговицы — род голенищ.

Мюриды — сподвижники Шамиля, руководителя освободительного движения горцев Дагестана и Чечни против колониальной политики русского царизма.

Гехи, или Гихи,— селение в Чечне, неподалеку от речки Валерик.

Кунак — приятель, знакомый.

Валери́к — приток реки Сунжи. Название происходит от чеченского слова «валлариг» — «мертвый». Поэтому Лермонтов и называет Валерик «речкой смерти».

ЗАВЕЩАНИЕ

(Стр. 63)

Монолог умирающего офицера — участника кавказской войны, о которой поэт рассказывает в стихотворении «Валерик».

1841

РОДИНА

(Стр. 65)

Стихотворение написано как бы в ответ на спор о том, что такое истинная любовь к отчизне. Лермонтов отвергает официальные формулы само-

державной крепостнической России, возражает и тем, кто предлагает вернуться к порядкам допетровской России. Поэт любит народ, демократическую Россию, которой его оппоненты не знают.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

(Стр. 66)

Представляет собою своеобразный ответ на стихотворение французского поэта Альфонса Карра «Влюбленный мертвец».

«НА СЕВЕРЕ ДИКОМ СТОИТ ОДИНОКО...»

(Стр. 67)

Вольный перевод стихотворения Г. Гейне из его «Buch der Lider» («Книга песен»).

<ИЗ АЛЬБОМА С. Н. КАРАМЗИНОЙ>

(Стр. 67)

Софья Николаевна Карамзина — дочь знаменитого писателя и историка Н. М. Карамзина, хозяйка петербургского литературного салона, в котором Лермонтов бывал постоянно, начиная с 1838 года. Ее брат Александр (Саша), как и сама Софья Карамзина, был дружен с Лермонтовым. Александр Карамзин, известный своим остроумием, выкидывал разные шутки и фарсы («фарсу Саши»). В стихотворении упомянута Александра Осиповна Смирнова (см. примечание к стихотворению «А. О. Смирновой», стр. 568) и поэт Иван Петрович Мятлев, автор шутливых стихотворений (в дружеском кругу именовавшийся Ишкой Мятлевым).

<ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ>

(Стр. 67)

Евдокия Петровна Ростопчина — известная поэтесса 30—40-х годов XIX века. Лермонтов был хорошо знаком с ней, начиная с юных лет, когда оба они жили в Москве. В ту пору Ростопчина разделяла взгляды передовой молодежи и даже написала послание в Сибирь к сосланным декабристам. Вот почему Лермонтов написал ей: «Мы шли дорогою одною, нас обманули те же сны...»

«ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ...»

(Стр. 69)

Голубые мундиры в николаевской России носили жандармы, которых иносказательно, в насмешку называли «пашами». «Паши» — высшие офицеры в турецкой армии того времени.

СПОР

(Стр. 69)

Поэт в аллегорической форме говорит о кавказской войне. Лермонтов сочувствовал борьбе горцев против власти российского самодержавия. Но пришел к мысли, что в тогдашних исторических условиях горцы отстоять свою независимость не могли и что присоединение их или к России, или к странам Востока было исторически неизбежным. Но Россия стояла на более высокой ступени экономического и культурного развития, чем мусульманский Восток, и выступала как носитель прогресса.

Генерал седой — А. П. Ермолов. Поэт не назвал его: Ермолов уже многие годы находился в опале за близость свою к декабристам и попытка прославить его в печати могла повлечь за собой цензурное запрещение.

«ОНИ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА ТАК ДОЛГО И НЕЖНО...»

(Стр. 73)

Переделка стихотворения Г. Гейне «Sie liebten sich beide, doch keiner...», первые две строки которого стали эпиграфом.

ТАМАРА

(Стр. 73)

В основу этой баллады положена грузинская легенда о коварной царице Дарье, жившей в башне над Тереком. Сохранился вариант этой легенды, в котором мифическая Дарья носит имя Тамара.

СВИДАНЬЕ

(Стр. 74)

Лермонтов побывал в Тифлисе в 1837 году, во время первой ссылки. Четыре года спустя он задумал написать целую книгу стихов о Кавказе. Но успел написать только «Спор», «Тамару» и «Свиданье».

Твердыня старая — развалины старинной крепости, защищавшей в старину Тифлис от нападения врагов.

ЛИСТОК

(Стр. 77)

Образ оторванного листка, гонимого бурей, был для Лермонтова символом судьбы политического изгнанника.

«НЕТ, НЕ ТЕБЯ ТАК ПЫЛКО Я ЛЮБЛЮ...»

(Стр. 78)

Написано в Пятигорске. По всей видимости, Лермонтов обращается в этом стихотворении к молодой девушке, своей дальней родственнице Екатерине Быховец. Лето 1841 года она тоже проводила в Пятигорске. Быховец говорила потом, что Лермонтов любил ее за то, что она напоминала ему В. А. Лопухину, на которую была очень похожа: «Об ней его любимый разговор был».

«ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...»

(Стр. 78)

Лермонтов говорит не о покое смерти, но о том покое, который нисходит на человека среди природы.

ПРОРОК

(Стр. 80)

В стихах Пушкина и Лермонтова пророк — поэт, выступающий в роли учителя, мудреца, обличителя общественных пороков.

Подразумевая николаевскую Россию и свою собственную судьбу, Лермонтов говорит о том, какая судьба ожидает поэта, посмевшего выступить с проповедью добра и правды во враждебном ему окружении.

В е ч н ы й с у д и я, п р е д в е ч н ы й,— то же, что бог.

1828—1836

1828

ПОЭТ

(Стр. 82)

Имя «Рафаэль» в первой строке читается у Лермонтова с ударением на втором слоге — Рафáэль.

1829

ЖАЛОБЫ ТУРКА

(Стр. 83)

В стихотворении иносказательно говорится о политической жизни России после разгрома декабристского движения. Условное изображение деспотического режима в николаевской России под видом Турции было широко распространенным явлением. Так, скажем, жандармов называли пашами (Ср. у Лермонтова «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей...» См. примечание к стихотворению «Прощай, немытая Россия...», стр. 570.)

МОНОЛОГ

(Стр. 83)

В стихотворении Лермонтов ставит вопрос о судьбе своего поколения, вступившего в жизнь после разгрома декабрьского восстания 1825 года.

1830

ВЕСНА

(Стр. 84)

Первое стихотворение Лермонтова, появившееся в печати (с подписью L).

К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...»)

(Стр. 84)

Сравнивая себя с Байроном («У нас одна душа, одни и те же муки...»), шестнадцатилетний Лермонтов завидует «уделу» британского поэта, который погиб в Греции, куда приехал, чтобы сражаться за свободу греческого народа (1824).

30 ИЮЛЯ.— (ПАРИЖ) 1830 ГОДА

(Стр. 85)

Написано при известии о том, что во Франции произошла революция и король Карл X отрекся от престола.

НОВГОРОД

(Стр. 86)

Обращено стихотворение, очевидно, к сосланным декабристам. В таком случае, под словом «тиран» Лермонтов подразумевает Николая I. В представлении декабристов и людей последекабрьского поколения, к которому принадлежал Лермонтов, общественный строй древнего Новгорода был символом национально-русского общественного и политического строя.

ПИР АСМОДЕЯ

(Стр. 86)

Стихотворение представляет острую политическую сатиру. Во второй строфе упоминается «приезжий», имя которого даже в своей тетради Лермонтов заменил звездочками. Так как оно должно было рифмоваться со словом «правил», то было высказано предположение, что поэт имел в виду императора Павла I. Это вполне убедительно: в русской революционной поэзии Павел I был символом тирана-злодея.

«Вино свободы» — намек на французскую революцию 1830 года и на революционное движение в Европе («народы... начали в куски короны бить...»). Последняя строфа — отклик на холерную эпидемию 1830 года.

НА КАРТИНУ РЕМБРАНДТА

(Стр. 88)

Лермонтов говорит о картине Рембрандта «Портрет молодого человека в одежде францисканца», которая в 30-х годах прошлого века хранилась в Москве, в художественной галерее Строгановых.

К*** («О, полно извинять разврат!..»)

(Стр. 89)

В мае 1830 года в «Литературной газете» появилось послание Пушкина «К вельможе», в котором поэт обращался к князю Н. Б. Юсупову — сановнику екатерининского времени, доживавшему свой век в своем подмосковном имении Архангельском. Будучи смолоду дипломатом, Юсупов побывал во многих странах, встречался с Вольтером, Дидро, Бомарше, в 1789 году находился в Париже и был свидетелем французской революции. Именно этим и привлекла Пушкина фигура Юсупова.

Между тем многими современниками послание к нему было воспринято как измена традициям гражданской поэзии, клеймившей тиранов и вельмож.

Слухи об отказе Пушкина от его прежних взглядов побудили шестна-

дцатилетнего Лермонтова обратиться к великому поэту с призывом оставаться певцом вольности и гражданского мужества, гордиться судьбою изгнанника. Под «изгнаньем из страны родной» Лермонтов разумеет, конечно, бессарабскую ссылку Пушкина.

Словарь лермонтовского стихотворения — «злодеи», «глупцы», «щит», «порфира» — восходит к стихотворениям Пушкина «Деревня» («Не завидовать судьбе злодея иль глупца...»), к оде «Вольность» («Твердый щит», «злодейская порфира») и помогает уяснить, что в последней строфе речь идет о вольнолюбивых стихах Пушкина. Возможно, что Лермонтов имеет в виду стихотворения «Арион», «Андрей Шенье», отрывок из которого после декабрьских событий 1825 года распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря».

Лермонтов глубоко воспринял эти призывы Пушкина к вольности: «...в этом есть краю Один, кто понял песнь твою» («Один» употреблено здесь не в смысле «единственный», а как «один человек».

1831

1831-го ИЮНЯ 11 ДНЯ

(Стр. 90)

Одно из самых значительных стихотворений среди юношеской лирики Лермонтова. Для героя этого стихотворения жизнь — творческий подвиг. Он жаждет действия, осуществления мечты, только мысль, претворенная в дело, имеет значение в его глазах.

В строфе 5-й поэт обращается к Н. Ф. Ивановой.

РОМАНС К И... («Когда я унесу в чужбину...»)

(Стр. 98)

Обращено к Наталье Федоровне Ивановой. См. стихотворение к Н. И.....

К Н. И..... («Я не достоин, может быть...»)

(Стр. 98)

Обращено к Наталье Федоровне Ивановой, которой Лермонтов был увлечен в 1831—1832 гг. История отношений с ней отразилась в обширном цикле стихотворений, объединенных темой любви и измены. Н. Ф. Иванова была дочерью московского поэта и драматурга Ф. Ф. Иванова (1777—1816).

АНГЕЛ

(Стр. 99)

Единственное из юношеских произведений Лермонтова, которое он опубликовал при жизни с подписью своего имени. Однако, составляя в 1840 году сборник своих стихотворений, Лермонтов «Ангела» в него не включил. Замысел стихотворения возник в связи с воспоминанием о песне, которую певала Лермонтову покойная мать.

1832

К* («Я не унижусь пред тобою...»)

(Стр. 99)

Прощальное послание к Н. Ф. Ивановой.

«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ...»

(Стр. 101)

Первая строка стихотворения позволяет предполагать, что шел разговор с поэтом на эту тему, и, видимо, кто-то сравнил Лермонтова с Байроном.

«Я ЖИТЬ ХОЧУ! ХОЧУ ПЕЧАЛИ...»

(Стр. 101)

Стихотворение это дошло до нас в тексте письма Лермонтова, написанного в августе 1832 года.

ДВА ВЕЛИКАНА

(Стр. 101)

В образе двух великанов в сказочно-аллегорической форме изображена борьба русского народа с Наполеоном и изгнание его из России в 1812 году.

Неведомый гранит — остров Святой Елены в Атлантическом океане, на котором Наполеон находился в ссылке с 1815 года вплоть до смерти.

ПАРУС

(Стр. 102)

Написано на берегу Финского залива в августе 1832 года. Первая строка совпадает со стихом из анонимно изданной в 1828 году в Москве поэмы декабриста А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский» (гл. I, строфа 19).

Стихотворение Лермонтова было воспринято в русском обществе как выражение передовых гражданских идей того времени.

1836

УМИРАЮЩИЙ ГЛАДИАТОР

(Стр. 104)

Стихотворение представляет собою вольное переложение четвертой песни поэмы Байрона «Чайльд-Гарольд».

ЭПИГРАММЫ

<ЭПИГРАММА НА Н. КУКОЛЬНИКА> («В Большом театре я сидел...»)

(Стр. 105)

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, прозаик и драматург консервативно-дворянского лагеря. В 1835 году на сцене Александринского театра в Петербурге была поставлена трагедия «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский».

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА> («Россию продает Фадей...»)

(Стр. 105)

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный писатель, агент Третьего отделения, имя которого стало символом продажности и бесчестия. В 1837 году издал три части разрекламированной им самим справочной книги «Россия», представлявшей собою безграмотную мешанину разнообразных сведений. Во время Отечественной войны 1812 года Ф. Булгарин служил в армии Наполеона. На сопоставлении этих фактов и построена эпиграмма.

<К ПОРТРЕТУ СТАРОГО ГУСАРА> («Смотрите, как летит, отвагою пылая...»)

(Стр. 105)

Старый гусар, Н. И. Б—в — сослуживец поэта по лейб-гвардии Гусарскому полку Николай Иванович Бухаров (1799—1862), старейший офицер, любимый всеми товарищами. Сохранился и самый портрет, на котором лейб-гусар А. Н. Долгоруков изобразил Бухарова скачущим во весь опор на коне. Под рисунком написано четверостишие Лермонтова, который расписался за себя и за Долгорукова и выставил под рисунком дату: «1838».

<К Н. И. БУХАРОВУ> («Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...»)

(Стр. 105)

Поэт призывает Бухарова на пирушку в Петербург (из Царского Села, где квартировали лейб-гусары). Очевидно, это записка, составленная в стихах.

<Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ> («Графиня Эмилия...»)

(Стр. 106)

Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, урожденная Шернваль (1810—1846), отличалась необыкновенной красотой. По словам современников, Лермонтов был увлечен ею.

ПОЭМЫ

ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

(Стр. 109)

А. Краевский — редактор газеты «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», где «Песня» была напечатана впервые в 1838 году,— утверждал, что Лермонтов прислал ему поэму с Кавказа, куда был сослан за стихи на смерть Пушкина.

Исследователи уже обращали внимание на то, что отношение царя, опричника и Калашникова, вышедшего на поединок, чтобы защитить честь своей жены, а также «государева милость» по отношению к жене и детям Калашникова после его смерти ассоциируются с дуэлью и смертью Пушкина и с «милостями» Николая I по отношению к детям и вдове Пушкина. Это — предположение: достаточных оснований утверждать, что Лермонтов думал об этом, нет. Но несомненно поэма заключала для современников глубоко злободневный смысл: читатель невольно сопоставлял произвол в эпоху Ивана Грозного с царствованием Николая I.

Написана поэма в духе русских народных, в частности разбойничьих, песен. Уже современная Лермонтову критика ставила это произведение в ряд величайших эпических творений мировой литературы.

Г у с л я р н ы й з в о н — звон гуслей, старинного музыкального инструмента, на котором играли, положив его на колени и перебирая обеими руками струны.

С к у р а т о в М а л ю т а — один из ближайших опричников Ивана Грозного.

А р г а м а к — порода верховых лошадей.

Л о б н о е м е с т о — возвышение, с которого в старину объявляли царские указы и на котором производились смертные казни.

П л а х а — бревно, на котором отрубали голову.

Б е с т а л а н н а я — несчастная, обездоленная.

Т о р о в а т ы й — щедрый.

БЕГЛЕЦ

(Стр. 123)

С у п о с т а т — враг.

В е ж д ы — веки.

В е п р ь — дикий кабан.

Г я у р — так магометане называли людей другой веры. Слово имело бранное значение.

ДЕМОН

(Стр. 128)

Над поэмой о Демоне Лермонтов работал около десяти лет: начал писать ее пятнадцатилетним подростком, а в последний раз переделывал и поправлял окончательный вариант зимой 1838/39 года.

В первых набросках действие происходило в неопределенной, условной обстановке. Побывав в 1837 году на Кавказе, поэт перенес действие в Грузию: описания Кавказских гор, «излучистого Дарьяла», Казбека, который кажется пролетающему над ним Демону «гранью алмаза», берегов светлой Арагвы приблизили отвлеченный замысел к жизни. В поэме появились красавица грузинка Тамара — дочь старого Гудала, ее жених — удалой князь. Поэма наполнилась описаниями грузинской природы и быта.

В Грузии Лермонтов слышал народные песни, легенды, предания, которые использовал в работе над «Демоном», в частности легенды о заоблачном монастыре возле самой вершины Казбека, куда никто не может добраться, о злом духе Гуда, полюбившем грузинскую красавицу, из-за которой дух мечтает стать смертным и губит из ревности ее жениха. Записано в Грузии напоминающее строфы «Демона» предание о женихе, который торопится на свою свадьбу, но убит недалеко от дома невесты. Узнав об этом, невеста уходит в монастырь. Отзвуки народных преданий имеются и в той строфе поэмы, где путник, слыша рыдания Тамары, думает:

...«То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

Горный дух, прикованный в пещере к скале,— сказочный богатырь Амирани, о котором в Грузии и вообще на Кавказе рассказывают повсеместно. Некогда Амирани, как и лермонтовский Демон, восстал против бога. И за это бог приковал его в пещере к скале.

Напечатать поэму про ангела, который восстал против бога, мешала цензура.

Но слух, что Лермонтов написал новое замечательное произведение, разошелся по всей России. «Демон» стал распространяться в рукопис-

ных копиях, как некогда «Горе от ума» А. Грибоедова, а потом «Смерть Поэта».

По нескольку вечеров трудились любители поэзии, чтобы аккуратно списать от руки более тысячи строк.

Читали поэму с восторгом. Лучшие люди того времени находили в ней отражение собственных мыслей и чувств. Их увлекал образ Демона — свободного, гордого, непокорного. Монологи Демона звучали в то время как призыв к борьбе за свободу, за право человека свободно мыслить, чувствовать, творить.

Белинский приходил в восторг от этой поэмы. Его восхищала «с небом гордая вражда». Он считал это произведение одним из самых глубочайших творений мировой поэзии, считал, что в образе лермонтовского Демона отражено вечное движение мысли, ее вечное обновление. С 1838 года «Демон» стал распространяться по России в рукописных копиях.

В конце 1838 года Лермонтов, стремясь напечатать поэму, подверг текст капитальной переработке и внес в окончательный вариант многие вынужденные изменения. Так, Демон вовлекал Тамару в свою вражду с небом, поселял в ее душе непобедимое сомнение. Это место следовало за главой XIII второй части поэмы, вслед за описанием умершей Тамары:

И все, где пылкой жизни сила
Так внятно чувствам говорила,
Теперь один ничтожный прах:
Улыбка странная застыла,
Едва мелькнувши на устах;
Но темен, как сама могила,
Печальный смысл улыбки той:
Что в ней? насмешка ль над судьбой,
Непобедимое ль сомненье?
Иль к жизни хладное презренье?
Иль с небом гордая вражда?
Как знать? для света навсегда
Утрачено ее значенье!
Она невольно манит взор,
Как древней надписи узор.
Где, может быть, под буквой странной
Таится повесть прежних лет,
Символ премудрости туманной,
Глубоких дум забытый след.

В феврале 1839 года поэт в последний раз пересмотрел текст в связи с тем, что поэму пожелала прочесть императрица — жена Николая I. Но и после этого не последовало разрешения печатать поэму.

Впервые «Демон» был напечатан за границей в 1856 году — пятнадцать лет спустя после гибели Лермонтова.

Д е м о н — отверженный ангел, злой дух, искуситель.

Х е р у в и м — в религиозных легендах ангел высшего чина.

Р а и н ы — пирамидальные тополя.

«П и т о м е ц р е з в ы й К а р а б а х а...» — конь карабахской породы.

Ч е п р а к — ковровая подстилка под седло.

Л а н и т ы — щеки.

В е т р и л о — парус.

Д е н н и ц а — утренняя заря.

Н е б о ж и т е л ь — обитатель неба.

К е л ь я — жилище монаха или монахини.

В л а с я н и ц а — грубая одежда из волос животных.

А в р о р а — здесь: утренняя заря.

М у э ц и н ы, или м у э д з и н ы,— служители при мусульманских мечетях, возглашающие часы молитв с высоты башен — минаретов.

Э д е м — рай.

С о н м и щ е — множество.

К а н о н — похвала святому.

МЦЫРИ

(Стр. 159)

Лермонтов рассказывает о судьбе шестилетнего мальчика-горца, который жил в горах Северного Кавказа и был взят в плен генералом Ермоловым. Возвращаясь в свою резиденцию — Тифлис, Ермолов взял его с собой, но в пути ребенок заболел, и в Грузии, на последней станции Военно-Грузинской дороги, во Мцхете, возле Тифлиса, генерал отдал его на излечение монахам. Так мальчик попал в монастырь, который находится у слияния Арагвы и Куры.

Никто не называл его по имени. Он — мцыри, что по-грузински означает: монастырский прислужник, по́слушник. Он мусульманской веры, но его окрестили и готовят к пострижению в монахи. Монастырь стал для него тюрьмой. Он бежит, снова попадает в монастырь и умирает — не может жить в неволе после того, как глотнул воздуха свободы. В этом и заключается основная мысль поэмы. Недаром эпиграфом для «Мцыри» Лермонтов взял библейское изречение, означающее: «Вкушая, вкусил мало меду, и вот я умираю». Под «медом» Лермонтов подразумевает свободу.

Во Мцхете до сих пор можно видеть древний грузинский храм «Светицховели», где покоится прах последних грузинских царей — Ираклия II и Георгия XII, при котором произошло присоединение Грузии к Российской империи. Об этих надгробиях Лермонтов говорит в первой строфе поэмы. На остроконечной горе над самым слиянием Куры и Арагвы высится старинный монастырь «Джвари», или «Джварис-сакдари» («Монастырь креста»), откуда хорошо виден Главный Кавказский хребет. Этот храм нередко называют теперь монастырем Мцыри. В своей поэме Лермонтов как бы слил два храма в один.

В главе 10-й поэт упоминает о злом духе, низвергнутом в подземную

бездну. Это — Амирани, о котором в Грузии до сих пор бытует много легенд.

Кадильница — сосуд для благовонных курений.

Чадра — женское покрывало, окутывающее лицо и фигуру. Грузинки чадры не носили; Лермонтов имеет в виду личаки — вуаль, ниспадающую от венчика, тавсакрави, на распущенные волосы.

Сакля — жилище горца: небольшой домик, сложенный из камней.

ИЗМАИЛ-БЕЙ

(Стр. 178)

До нас дошла авторизованная копия, с которой поэма набиралась в 1843 году в «Отечественных записках». Автограф «Измаил-Бея» утрачен. В 1870 году его видел биограф Лермонтова В. Х. Хохряков: в одной из его тетрадей сохранились аккуратно переписанные английские эпиграфы, отсутствующие в копии (переписчик не мог прочесть английские тексты и оставил для них пробелы), посвящение и целый ряд отдельных строк, запрещенных цензурой или вычеркнутых самим Лермонтовым. Кроме того, Хохряков скопировал надпись с обложки автографа: «Измаил-Бей». *Восточная повесть.* 1832 год. 10 мая». Дата эта подкрепляется тем, что в тетради поэта, относящейся к весне 1832 года, имеются стихотворения, возникшие в связи с работой над «Измаил-Беем»: «Люблю я цепи синих гор...», «Прощанье», «Романс» («Ты идешь на поле битвы...»), а также отрывок «Синие горы Кавказа, приветствую вас...». Этот отрывок представляет собою такую же заготовку для стихотворного текста первых строф «Измаил-Бея».

В основу «Измаил-Бея» положены действительные исторические события. Герой — реальное историческое лицо.

Как установил С. А. Андреев-Кривич, в 1780-х годах русское командование на Кавказе отправило в Россию в качестве «аманата» (заложника) молодого кабардинского князя Измаил-Бея Атажукова. Он получил образование в России и, зачисленный в русскую армию, участвовал под знаменами Суворова в штурме турецкой крепости Измаил.

Вернувшись на родину, он принял участие в восстании 1794—1795 годов. Восстание было подавлено, а Измаил-Бей выслан в Россию.

В 1804 году, в связи с укреплением Кавказской линии и постройкой Кисловодской крепости, обитавшие в районе Пятигорья кабардинцы, ногайцы и абазины, возбуждаемые кабардинскими феодалами и мусульманским духовенством, покинули обжитые места, ушли в горы и подняли новое восстание.

Получив донесение об этом, правительство Александра I решило «простить» полковника Измаила Атажукова и отправить на родину с тем, чтобы использовать его способности и познание языка, нравов и обычаев для переговоров с восставшими. Возглавил восстание князь Росламбек Мисостов, принадлежавший к роду Атажуковых и находившийся в родстве с Измаил-Беем.

К этому времени и приурочил Лермонтов начало своей поэмы. Переселение кабардинцев из Пятигорья описано у него в VII и VIII строфах первой части; в начале второй повествуется о событиях 1805 года, связанных с экспедицией генерала Глазенапа в ущелье реки Баксан.

Однако события, происходившие в Кабарде, Лермонтов перенес в своей поэме в восточную часть Северного Кавказа, за Терек, в долину реки Аргун. В третьей части (строфа XII) упоминается «Оссаевское поле». Так называлась в те времена равнина, по которой протекает Асса, или Оссая. Таким образом, можно уточнить топографию поэмы: это бассейн Ассы и Аргуна. В тексте поэмы имеется много других признаков, свидетельствующих о том, как подробно знал Лермонтов историю кавказской войны и с каким пониманием описывал быт горцев.

В своей поэме Лермонтов не только сохранил подлинные имена Измаил-Бея и Росламбека, но использовал подробности биографии Измаила Атажукова. Так, мы узнаем, что герой поэмы служил в русской армии и получил образование в России (ч. II, строфа XXIII). «Белый крест на ленте полосатой», который черкесы находят на теле убитого Измаил-Бея и принимают за нательный крест христианина,— Георгиевский крест, полученный историческим Измаил-Беем за участие в штурме крепости Измаил. Как известно, этот крест носили на полосатой черно-оранжевой ленте.

Впервые поэт услышал об Измаил-Бее еще в детстве, когда бывал на Кавказских водах. Сохранились сведения, что знаток кабардинского фольклора, просветитель кабардинского народа Шора Бекмурзин Ногмов рассказывал Лермонтову-ребенку горские легенды. Выяснено также, что Лермонтов знал широко распространенное в кабардинском фольклоре предание об Исмеле Хатокшоко (Измаиле Атажукове). Кроме того, об Измаил-Бее он мог многое слышать от живших на Кавказе родных — Хастатовых, Шан-Гиреев, Петровых.

В строфе IV первой части Лермонтов сам указывает на фольклорный источник поэмы:

Старик чеченец,
Хребтов Кавказа бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.

Версия о смерти Измаил-Бея от руки Росламбека была широко распространена на Кавказе. Декабрист А. И. Якубович, знавший родственников Измаила, в одном из своих писем упоминает «братоубийство князя Росламбека Мисостова».

Припев «Черкесской песни» в поэме Лермонтова восходит к «Собранию разных песен М. Д. Чулкова», где имеются строки:

Не женись ты, добрый молодец.
А на те деньги коня купи...

О горцах, переходивших на сторону русских и получавших образование в России, в ту пору часто писали газеты и журналы; в «Московском телеграфе» 1829 года (ч. 27) была помещена статья о подвигах другого Измаил-Бея — ногайского князя Измаил-Бея Алиева, поручика русской службы. Он пал от руки кабардинского князя Гиреева.

«Украсит Север Августом другим».— Лермонтов в иронически возвышенном тоне говорит здесь о Николае I, сравнивая его с первым римским императором, Гаем Юлием Цезарем Октавианом (63 г. до н. э.— 14 г. н. э.), которому был присвоен титул Августа, т. е. «священного».

«Питомец смелый трамских табунов...» — конь прославленного трамского завода в Пятигорье, из аула Трам, разрушенного в 1818 году.

ДРАМА

МАСКАРАД

(Стр. 241)

Герой драмы Арбенин наделен мятежным духом, умом, сильной волей. Но, связанный с великосветским обществом рождением и воспитанием, он напрасно стремится обрести независимость и свободу. Он живет по законам этого общества и, пытаясь защитить свою честь в глазах общества, которое сам считает бесчестным, становится злодеем. Нравственные пороки Арбенина — это пороки аристократического общества. Арбенин — одновременно и «жертва» и «палач». Он не только страдает, но и несет страдания другим.

Название пьесы заключает в себе не только прямой, но и второй, иносказательный, смысл. По мысли Лермонтова, маскарад — это весь блестящий аристократический Петербург, где под маской внешней благопристойности скрываются порок и преступление. И только на маскараде, скрыв под маской свои черты, это общество обнажает свои низменные пороки и страсти.

Пьеса написана в 1835 году. Действие ее происходит в Петербурге около этого времени. Из игорного дома Арбенин и Звездич едут на Невский проспект, в дом барона Энгельгардта, где устраиваются аристократические костюмированные балы-маскарады и где постоянно бывает царь — Николай I.

Первоначально пьеса заключала в себе три акта и кончалась смертью Нины. Мечтая увидеть «Маскарад» на сцене столичного Александринского театра, Лермонтов представил пьесу в драматическую цензуру, которой

ведал тогда шеф жандармов Бенкендорф. Но цензура не пропустила ее по причине, как сказано было Лермонтову, «слишком резких страстей и характеров, а также потому, что добродетель в ней недостаточно награждена». При этом цензор возмущался, как мог поэт бросить вызов костюмированным балам в доме Энгельгардта и оскорбить дам высшего общества. Драма была возвращена автору для решительных переделок. Лермонтову предлагалось «наказать порок» и закончить пьесу примирением между супругами Арбениными.

Желая избегнуть коренных изменений текста, Лермонтов ввел в пьесу фигуру Неизвестного и к трем прежним актам дописал новый, четвертый, в котором судьба в образе этого Неизвестного карает героя — Арбенин сходит с ума.

Это не удовлетворило цензуру.

Тогда Лермонтов подверг драму столь капитальной переработке, что пришлось отказаться от названия «Маскарад». В новой редакции пьеса носит заглавие «Арбенин». Но даже и в этом, искалеченном, виде цензура не пропустила ее. Надо думать, причина заключается в том, что в основу пьесы положено происшествие, случившееся незадолго перед тем в Петербурге. Об этом имеется упоминание в отзыве цензора. Намек на это же «действительное происшествие», кажется нам, есть в той сцене, где 3-й гость называет на балу Нину — Настасьей Павловной. И во всех вариантах драмы Лермонтов намеренно оставляет эту случайную, казалось бы, ошибку в имени героини. В «Арбенине» ее называют Настасьей Алексеевной. И тоже только один раз. Очевидно, имя «Настасья» должно было напомнить петербургской театральной публике о каких-то истинных обстоятельствах, положенных в основу сюжета.

Первая — трехактная — редакция драмы до нас не дошла. «Маскарад» печатается и ставится на сцене во второй, четырехактной, редакции.

«Мечут банк», «понтируют», «семпелями», «гнуть» — термины карточной игры.

Диана — в греческой мифологии богиня охоты.

Венера — мифологическая богиня любви.

Домино — здесь: черно-белый маскарадный костюм.

Жорж Занд, или Жорж Санд,— под этим литературным именем выступала знаменитая французская писательница, современница Лермонтова, Аврора Дюдеван.

Волтер — правильно: Вольтер. Великий французский философ-материалист и писатель XVIII столетия.

Декарт — великий французский философ XVII века.

Рауль — марка дорогого французского вина.

Лепажа пистолеты — распространенные в ту пору французские дуэльные пистолеты.

ПРОЗА

ПАНОРАМА МОСКВЫ

(Стр. 371)

Это школьное сочинение юнкера Лермонтова. Однако оно представляет собой одно из замечательных произведений русской патриотической прозы. В этом коротком очерке сказалась вся любовь поэта к Москве, глубокое понимание той великой роли, которую Москва сыграла в жизни отечества. Обозревая мысленно из конца в конец древнюю русскую столицу, Лермонтов вспоминает события из ее истории, связанные с именами Ивана Грозного, Годунова, Минина, Петра I, с пожаром 1812 года, который, как «вещее пламя», как «грозный светоч», озарил «торжество и падение» Наполеона.

Панораму Москвы Лермонтов заканчивает описанием Кремля. «Он алтарь России»,—восклицает поэт. В нем, по словам Лермонтова, «должны совершаться и уже совершались многие жертвы» — многие великие дела, достойные отечества. Как мифологическая птица Феникс, возрождавшаяся из своего пепла, древний Кремль представляется Лермонтову символом обновления.

Панорама — вид на местность, простирающийся на далекое пространство.

Колокольня Ивана Великого в Кремле, с которой Лермонтов обозревал Москву, представляла собой в то время самое высокое здание

в городе. Высота его достигает почти восьмидесяти метров. «Иван Великий» был выстроен при Борисе Годунове, в 1600 году.

Симметрический — симметричный.

Беетговен — великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (1770—1827).

Петровский замок — дворец, выстроенный в конце XVIII века знаменитым архитектором М. Казаковым перед въездом в Москву со стороны Тверской заставы (на нынешнем Ленинградском проспекте). В 1812 году, во время московского пожара, в нем скрывался Наполеон. Ныне в Петровском замке размещается Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского.

«Романическая Марьина роща».— В. А. Жуковский описал ее в своей романтической повести «Марьина роща».

«...Булевары... на древнем городском валу».— На месте нынешнего кольца московских бульваров до конца XVIII века находились стена и городской вал, которыми был окружен «Белый город».

Сухарева башня находилась на месте нынешней Колхозной площади. Представляла собой каменные ворота — башню с трехэтажным каменным шатром. Ее выстроил Петр I в конце XVII века. У ворот башни располагался в те времена полк полковника Сухарева. Отсюда и произошло ее название.

Петровский театр — здание нынешнего Большого театра Союза ССР. Стоявшее на этом месте прежнее здание театра сгорело в 1805 году и было восстановлено в 1824 году по проекту архитектора Бове.

Алебастровый Аполлон.— Портик Большого театра украшен бронзовой четверкой коней, впряженных в колесницу, в которой стоит Аполлон — в древней мифологии бог искусств, покровитель муз. Во времена Лермонтова эта группа была алебастровая, но в колесницу было впряжено четыре коня, а не три, как ошибочно написал Лермонтов.

Церковь Василия Блаженного на Красной площади выстроена русскими мастерами Посником и Бармой по указу царя Ивана IV в память его победы под Казанью. В конце XVII века все десять куполов и стены церкви Василия Блаженного были расписаны красивыми узорами. Кроме того, были пристроены колоколенка и два шатровых крыльца. В таком виде собор сохранился до нашего времени.

Вавилонский столп — Вавилонская башня, которую, по библейской легенде, жители древнего Вавилона собирались строить вышиною до неба.

Иероглифическое изображение — иероглиф. В данном тексте означает неразборчивый, непонятный знак. Лермонтов называет иероглифическими изображениями узоры, которыми расписаны стены храма Василия Блаженного.

Монумент Минину — памятник Минину и Пожарскому, воздвигнутый на Красной площади в 1818 году. В прежнее время, вплоть до конца XIX века, у пьедестала этого памятника шла бойкая торговля вразнос съестными припасами и прохладительными напитками.

Воспитательный дом находился близ впадения Яузы в Москву-реку, у нынешнего Устинского моста. Был построен в 1760-х годах. Ворота его выходят на Солянку; в начале XIX века они были украшены фигурами матерей и младенцев работы известного скульптора И. Витали.

Симонов монастырь в XIV—XVI веках был передовой крепостью — «сторóжей» Москвы. Татарские отряды, прежде чем напасть на Москву, должны были взять передовую «сторожу». А за это время москвичи успевали приготовиться к обороне или, как тогда говорили, «сесть в осаду». На месте Симонова монастыря выстроен Дворец культуры автозавода имени Лихачева. В память той роли, которую сыграл монастырь в защите Москвы от нападений врагов, сохранены его южная стена и три башни.

Тайницкие ворота выходили на Кремлевскую набережную. Позже были упразднены.

Поклонная гора — при въезде в Москву со стороны Смоленской дороги; с Поклонной горы открывался вид на Кремль. Когда Наполеон напрасно ожидал на Поклонной горе ключей от Кремля, которых ему никто не принес, пожаров в Москве еще не было: они начались позже, от поджогов, учиненных французами. Во времена Лермонтова это еще не было установлено.

«Будучи построена после французов...» — Уходя из Москвы, французские войска по приказу Наполеона начали взрывать Кремль. Но успели взорвать только три башни, выходящие на набережную, и часть прилегавшей к ним стены. Эти башни были восстановлены в 1816—1820 годах.

Алексеевский монастырь был построен в XIV веке, в районе нынешней Метростроевской улицы, в 1837 году переведен на Красносельскую улицу.

Донской монастырь — один из пяти монастырей — «сторожей» Москвы. Построен в конце XVI века. Монастырские постройки и крепостные стены, воздвигнутые в XVII веке, сохранились до нашего времени.

Воробьевы горы — ныне Ленинские горы.

«Многие жертвы, достойные отечества...» — Лермонтов имеет в виду роль Москвы в спасении Русского государства. Москва свергла татарское иго, тяготевшее над страной около двух с половиной веков. В 1612 году Москва изгнала польских и шведских захватчиков. В 1812 году под Москвой был нанесен сокрушительный удар Наполеону, а захват Москвы Наполеоном был началом конца его армии и его владычества над Европой.

Феникс — священная птица египтян, которая, чувствуя приближение смерти, сжигала себя и снова возрождалась из пепла.

Лермантов.— Юношеские рукописи поэта подписаны: «Лермантов». Эту фамилию носил его отец. Впоследствии поэт стал подписываться: «Лермонтов».

КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ

(Стр. 375)

Работа над «Княгиней Лиговской» относится к 1836 году. Роман остался незаконченным в связи с арестом и ссылкой Лермонтова на Кавказ в начале 1837 года.

Изображение социальных контрастов николаевской столицы — бальные залы и грязные дворы петербургских окраин, каморка чиновника и кабинет молодого аристократа, театральные ложи и толпа, глазеющая на гостей у подъезда особняка, так же как и сюжетная линия Печорин — Красинский,— все это было в литературе 1830-х годов явлением новым, заключавшим в себе острый, злободневный смысл.

Показывая своего современника на фоне петербургской жизни 1830-х годов, Лермонтов следовал Пушкину, представившему в «Евгении Онегине» человека своей эпохи на широком фоне столичной жизни. Недаром эпиграф к роману взят из «Евгения Онегина» («Поди! — поди! раздался крик!»), и самая фамилия Печорина, как заметил Белинский по поводу «Героя нашего времени», «незримо» связывает его с Онегиным (Онега — Печора). Интересно также, что в рукописи первой главы «Княгини Лиговской» имеется характерная описка: вместо фамилии Печорин Лермонтов написал «Евгений».

Связь «Княгини Лиговской» с петербургскими повестями Гоголя («Невский проспект», первая редакция «Портрета») ощущается также и в повествовательной манере Лермонтова («Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки», и т. д.), но более всего в выборе нового героя, бесправного человека, чиновника — жертвы общественного строя.

«Княгиня Лиговская» — роман обличительный; его пафос направлен против светского общества, уродующего людей, унижающего в них человеческое достоинство.

Плеоназм — многословие, оборот речи, содержащий слова одинакового значения.

На мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини — скрипача Никколо Паганини, композитора Дж. Россини и знаменитого русского певца Н. К. Иванова (1810—1880), отказавшегося выполнить распоряжение Николая I возвратиться в Россию.

«Он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары».— Лара — таинственный герой одноименной поэмы Байрона.

«Елизавете Львовне Негуровой...» — Негурову зовут Елизаветой Николаевной. Печорин намеренно пишет «Львовне».

«Фенелла», или «Немая из Портичи» (1828),— опера французского композитора Д.-Ф. Обера. Была поставлена в Петербурге в сезон

1833/34 года в Александринском театре с участием рижского певца К. Голланда и балерины М. Д. Новицкой. Лермонтов знал увертюру «Фенеллы» на память и постоянно играл ее на фортепьяно еще до постановки оперы в России.

«Последний Новик».— Речь идет о сыне царевны Софьи Алексеевны и князя В. В. Голицына; судьба его легла в основу одноименного исторического романа И. И. Лажечникова.

«Букли à la Sévigné» — как у госпожи Севинье. Мари Р.-Ш. де Севинье — французская писательница, прославившаяся изысканным стилем своих писем. В прическе «à la Sévigné» обруч стягивал волосы на темени и лицо обрамляли длинные букли, ниспадающие до плеч.

«У мужчин прически à la jeune France, à la Russe, à la moyen âge, à la Titus».— Романтически настроенные французские писатели носили особый костюм и прически (длинные волосы). Прической «à la Russe» («по-русски») назывались коротко остриженные в кружок волосы. Прическа «à la moyen âge» («по-средневековому») состояла из челки и длинных, до плеч, волос. Прическа «à la Titus» («как у Тита» — римского императора) отличалась очень короткой стрижкой волос.

«Какая смесь одежд и лиц...» — стих из поэмы Пушкина «Братья разбойники».

«Картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. *Про нее кричала вся Италия...*» — Картина К. П. Брюллова была доставлена из Италии в Петербург в 1834 году и вызвала восторженный прием.

«Борода à la St.-Simonienne» — по моде, которая шла от сенсимониста (последователя Сен-Симона) Анфантена,— узкая полоса бороды, обрамляющая бритые щеки и подбородок.

«Вкус, батюшка, отменная манера...» — стих из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. V).

АШИК-КЕРИБ

(Стр. 428)

История скитаний Ашик-Кериба широко распространена среди народов Закавказья. Лермонтовский «Ашик-Кериб» более всего напоминает сказку, записанную в одном из районов Грузии. Из этого следует, что поэт услышал ее в Тифлисе. Но в том, что ему рассказывал ее азербайджанец, нет никакого сомнения: в тексте Лермонтова сохранился целый ряд азербайджанских слов: «ага» (господин»), «ана» (мать), «оглан» (юноша), «рашид» (храбрый), «сааз» (балалайка), «мисирское» (то есть египетское) вино, а в наименовании Тифлиса воспроизведено азербайджанское произношение: «Тифлиз».

Слово «ашик» по-азербайджански значит «влюбленный». Но это слово

имеет и другой смысл: «певец», «поэт». А «кериб» значит «странник», «скиталец», «бедняк». Но, кроме того, Кериб и собственное имя. На этой игре слов построен разговор Ашика со слепой матерью: он называет ей свое имя, а она думает, что у нее просит ночлега странник.

Может вызвать недоумение, почему на вопрос матери, как его зовут, Ашик-Кериб отвечает: «Рашид». Но надо иметь в виду, что Лермонтов слышал популярную народную сказку не в полном, а в сокращенном виде. Некоторые ашики начинают сказку о приключениях Ашик-Кериба иначе. Они повествуют о том, как в городе Тавризе бедный юноша Расул хотел сделаться ашиком — народным певцом — и у него ничего не выходило. Тогда во сне явился к нему пророк Хидрилиаз и наделил его даром песен и, показав ему во сне образ его будущей невесты — дочери тифлисского купца, повелел ему идти в Тифлис. «Отныне ты ашик,— сказал он ему,— и будешь именоваться Керибом (странником)».

Взяв с собой мать и сестру, Ашик-Кериб пришел в Тифлис. Там он познакомился с Магуль-Мегери, которую показал ему во сне пророк Хидрилиаз.

Дальше в сказках идет все как у Лермонтова.

Одни народные певцы называют юношу Расул, другие — Рашид. По-разному называют и невесту. Некоторые ашики именуют ее не Магуль-Мегери, а Шах-Санан.

В азербайджанской народной поэзии мусульманский пророк называется Хидрилиаз. Но в грузинских легендах мусульманского Хидрилиаза постоянно путают с христианским святым — Георгием. То же самое видим мы и у Лермонтова. Оба имени стоят у него рядом: «Хадерилиаз (св. Георгий)». Отсюда снова можно сделать вывод, что Лермоитову сказку про Ашик-Кериба рассказывал азербайджанец, живший в Грузии.

Известно, что в 1837 году Лермонтов, находясь в Закавказье, начал брать уроки азербайджанского языка.

В последнее время высказано предположение, что уроки азербайджанского языка давал Лермонтову замечательный азербайджанский поэт, драматург и публицист, великий демократ, просветитель азербайджанского народа Мирза Фатали Ахундов (1812—1878). От него, видно, Лермонтов и услыхал сказку про странствующего певца.

Лермонтова, конечно, прежде всего привлек в этой сказке сам Ашик-Кериб: независимый, смелый, свободный поэт. Как гордо он разговаривает со слугами свирепого паши! Этот образ отвечал характеру самого Лермонтова и его положению: подобно Ашику, он был обречен на скитания. Пленила его и Магуль-Мегери, которая стойко перенесла все испытания, ее верность ашику.

После смерти Лермонтова рукопись сказки была обнаружена в его бумагах. Очевидно, поэт не считал ее окончательно готовой к печати. Так, одни и те же слова написаны в тексте по-разному. Значит, Лермонтов записал их, как услышал, с тем чтобы выяснить потом, что правильнее. Но в это время в Тифлис пришел приказ о переводе поэта в другой полк, стоявший в России; занятия азербайджанским языком пришлось прекратить, а потом,

в Петербурге, не у кого было спросить. Так и осталось: «Арзерум» и «Арзрум», «шинды герурсез» и «шинды герусез», «его сладкозвучный сааз» и «мся семиструнная сааз».

Ввиду того, что «Ашик-Кериб» дошел до нас только в черновой рукописи, в настоящем издании в тексте сказки авторская пунктуация сохранена не полностью.

На сюжет азербайджанской народной сказки известный азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков написал оперу «Ашик-Кериб». Эта же сказка легла в основу оперы «Шах-Сенем» другого советского композитора — Р. М. Глиэра. На тему лермонтовской сказки существует балет «Ашик-Кериб». Музыку для него написал композитор Б. В. Афанасьев.

«Прославляя древних витязей Туркестана...» — Туркестаном назывались в прежнее время территории нынешних среднеазиатских советских республик. Но в данном тексте это слово надо понимать как «страна турок» по аналогии с «Дагестан», «Гюрджистан» (Грузия), «Айастан» (Армения)... «Стан» — в буквальном смысле «стоянка».

Халаф (Халап, Халеб или, как его еще называют, Алеппо) — название города в Сирии.

Паша — высший сановник в Турции.

Чауш — младший чин в турецкой армии.

Керван — караван.

Караван-сарай — торговое подворье на Востоке, постоялый двор со складом для товаров.

Арзинган-гора находится вблизи города Эрзинджана.

Арзиньян (Эрзинга, Эрзинджан) — город в Турции.

Арзерум или Эрзрум — город, находящийся ныне на территории Турции.

Минареты — башни около мечетей, с которых муэдзины призывают правоверных мусульман на молитву.

Карс — город, находящийся ныне на территории Турции.

«Селям алейкюм» или «салям алей кум» — мусульманское приветствие; дословно: «Мир над вами».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Стр. 435)

В 1836 году Лермонтов задумал писать роман из петербургской великосветской жизни. Он хотел, по примеру Пушкина, который показал своего современника — Евгения Онегина на фоне петербургской жизни 1820-х годов, изобразить своего современника — гвардейского офицера Печорина на широком фоне столичной жизни.

Но наступил 1837 год. Лермонтова арестовали и сослали. Работа над

романом прервалась. А после ссылки он уже не захотел возвращаться к прежнему замыслу. На Кавказе он задумал новый роман.

Он побывал в Пятигорске и в Кисловодске, в казачьих станицах на Тереке. Проехал вдоль линии боевых действий. А в городке Тамани, на побережье Черного моря, чуть не погиб. Его хотели утопить контрабандисты, которые решили, что молодого офицера прислали, чтобы выследить их. С побережья Черного моря Лермонтов отправился в Грузию. На обратном пути в Ставрополе встретился и подружился с сосланными декабристами. Все это обогатило его множеством новых, необыкновенных впечатлений. Встречи с новыми, интересными людьми помогли ему создать живые, убедительные образы своих современников. Так, например, под именем доктора Вернера Лермонтов изобразил своего друга доктора Майера. Причем упомянул в романе, что друзьями доктора Вернера были «все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе» и что Печорин познакомился с ним в шумном кружке молодежи в С..., то есть в Ставрополе.

Так Лермонтов сумел намекнуть читателям, что доктор Вернер дружил с декабристами.

Лермонтов показал отношения своего героя не только с разночинцем доктором Вернером, но и со старым кавказским служакой Максимом Максимычем, с черкешенкой Бэлой, с черкесами Казбичем и Азаматом, с московской княжной Мери Лиговской, с армейскими офицерами Грушницким и Вуличем. Словом, обрисовал характер Печорина необыкновенно разносторонне и полно. Он рассказал в своем романе о Кавказе — стране, в ту пору еще малоизвестной; важное место в книге занимают описания природы и нравов кавказских жителей.

К работе над романом Лермонтов приступил во второй половине 1838 года. А уже в марте 1839 года в «Отечественных записках» появилась «Бэла», в ноябре — «Фаталист», в марте 1840 года — «Тамань». Печатая «Тамань», редакция уведомила читателей, что в непродолжительном времени Лермонтов издаст «собрание своих повестей», и «напечатанных и ненапечатанных», которые составят «новый прекрасный подарок русской литературе». Через полтора месяца вышли в свет пять повестей Лермонтова, объединенные общим заглавием «Герой нашего времени». Повести эти составили роман в двух частях.

Главы этого романа — «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» — расположены так, что события, описанные во второй части, предшествуют тем, которые Лермонтов описал в первой. Если же расположить повести в том порядке, в котором события происходили в жизни героя, то книга выглядела бы так:

1. Следуя на Кавказ к месту назначения, Печорин остановился в Тамани («Тамань»).

2. После участия в военной экспедиции Печорин едет на воды, живет в Пятигорске и Кисловодске, убивает на дуэли Грушницкого («Княжна Мери»).

3. За эту дуэль Печорина отправляют на «линию», в крепость на левом фланге, под начальство Максима Максимыча («Бэла»).

4. Из крепости Печорин отлучается на две недели в казачью станицу, где держит пари с Вуличем («Фаталист»).

5. Через пять лет после этого вышедший в отставку Печорин по дороге в Персию встречается во Владикавказе с Максимом Максимычем («Максим Максимыч»).

6. На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие к «Журналу Печорина»).

От хронологической расстановки повестей Лермонтов отказался. Он показал Печорина сначала таким, каким видит его человек совсем иного круга — скромный штабс-капитан. В следующей повести странствующий офицер, который пересказывает со слов Максима Максимыча историю Бэлы, сам видит Печорина и описывает его внешность, манеры и поступки. Потом читатель узнает о смерти Печорина и только после этого знакомится с его дневником и записками.

В начале романа впечатления читателя складываются не в пользу Печорина. Судя по словам Максима Максимыча в повести «Бэла», это человек странный: то мрачный и замкнутый, то веселый и деятельный, то вновь ко всему равнодушный. Страсти то вспыхивают в нем, то снова гаснут, пока не увлечет его новый порыв.

Следующая повесть—«Максим Максимыч»—убеждает нас, что Печорин эгоист, себялюбец, человек черствый, сухой. Как глубоко оскорбил он скромного штабс-капитана, как высокомерно пренебрег его преданной дружбой!..

Дневник и записки Печорина объясняют нам, наконец, его характер и поступки и заставляют взглянуть на него по-другому. Печорин приносит страдания другим, но и сам страдает, места не может найти от тоски и одиночества. Жизнь без цели, без борьбы, без дела искалечила этого человека. Он, которому судьба готовила, быть может, удел великих людей, обречен на «пустое кипение воли и сил». В характере его так много гордой независимости и человеческого достоинства, а он разыгрывает «жалкую роль палача» княжны Мери и Грушницкого в той «комедии», которую он затеял, чтобы утолить тоску по настоящей жизни и убить силы, достойные большого, настоящего дела. В Печорине немало пороков, Лермонтов прямо не говорит, чем порождены они, эти пороки, но мы понимаем, что их породил общественный строй тогдашней России. Мы понимаем, что Печорин, несмотря на свою принадлежность к классу «господ», чувствует себя в николаевской империи презренным рабом. Замысел романа нам помогает понять «Дума» Лермонтова — дума о том поколении, к которому принадлежал Печорин:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.

В стране, где одни люди составляют собственность других, Печорин несет в себе «зло». В других общественных условиях он мог бы совершать добро.

Если вникнуть в чистосердечные, откровенные признания Печорина, нетрудно понять его слова: «честолюбие мое подавлено обстоятельствами». Это намек на ссылку. Мы верим ему, когда он говорит, что его «бесцветная молодость протекала в борьбе между собою и светом». Понимаем, что Печорин ненавидит светское общество, в котором родился и вырос, но не находит выхода. Потому-то он и хочет бежать в новые, еще не изведанные страны. Он умер, возвращаясь из Персии. Так он нигде и не нашел лекарства от болезни, которою заражены люди его поколения. Печорин — глубоко несчастный человек. Он — жертва деспотического режима.

«Историю души» Печорина Лермонтов раскрыл как характерное явление той эпохи. Читатели и критики поняли это и восприняли роман как политический.

Реакционные журналисты накинулись на Лермонтова с неистовой злобой. Они уверяли, что Печориных в российской действительности не бывало, что это сплошная клевета. Реакционный писака С. Бурачек утверждал, что роман Лермонтова — издевка, что он составлен из одних измышлений, что в нем нет ни философии, ни религиозности, нет ничего русского. При этом Бурачек старался уверить, что Печорин — это сам Лермонтов.

Лермонтову надо было защититься от этих нападок. Поэтому ко второму изданию романа, в начале 1841 года, он написал предисловие, в котором опровергал обвинения критиков-мракобесов. «Герой нашего времени»,— писал Лермонтов,— точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Белинский написал о романе Лермонтова одну из самых замечательных своих статей, в которой взял Печорина под защиту:

«Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопочете? за что сердитесь?..— Вы предаете его анафеме не за пороки,— в вас их больше и в вас они чернее и позорнее,— но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них... в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь...»

Белинский увидел в Печорине типический образ эпохи. «Это Онегин нашего времени, герой нашего времени»,— писал он, соглашаясь тем самым с названием книги. Оценивая огромное общественное значение романа, он писал в той же статье: «Это грустная дума о нашем времени... это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдание... Основная идея,— продолжал великий критик,— так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из таких... увидит в ней исповедь собственного сердца».

Исповедь собственного сердца увидели в Печорине многие передовые люди того времени, обреченные на бездействие. Роман Лермонтова они восприняли как великое проявление свободной мысли, как правдивое, объ-

ективное изображение окружающей жизни и характеров. «Лермонтов великий поэт,— сообщал Белинский одному из своих друзей,— он объективировал современное общество и его представителей».

Печорин — герой промежуточной эпохи. Он вступил в жизнь после разгрома декабристов, а погиб прежде, чем на историческую сцену выступили революционные демократы.

Печорин стремился к личной свободе. Он думал, что обретет эту свободу, если порвет с аристократическим обществом. Но ни любовь к черкешенке Бэле, ни совместная жизнь с Максимом Максимычем, ни опасности, ни долгое путешествие не спасли его. Нигде не нашел он свободы. Он замкнулся в себе и погиб в трагическом одиночестве. У него не было тех средств для борьбы с враждебным ему окружением, как у Лермонтова, которому служила оружием в борьбе его гениальная поэзия, его великий роман «Герой нашего времени».

БЭЛА

(Стр. 437)

Перекладные — лошади, которых меняли на станциях.

Духан — сельский кабачок на Кавказе.

Линия — пограничная полоса укреплений на Кавказе для охраны от набегов горцев.

Подпоручик — во времена Николая I первый офицерский чин.

Штабс-капитан — чин, средний между поручиком и капитаном.

Лакейская — комната для слуг в барском доме.

Фельдфебель — помощник ротного командира из унтер-офицеров или нижних чинов.

Фрунт — воинский строй.

Буза — хмельной напиток из проса или ячменя.

Кунацкая — помещение в сакле для приема гостей.

Мулла́ — священнослужитель у магометан.

Джигито́вка — разнообразные упражнения в ловкости на скачущей лошади.

Абре́к.— В те времена абреками называли на Кавказе горцев-партизан.

Бешме́т — стеганый полукафтан.

Карага́ч — черное дерево.

Валла́х — аллах, бог.

Гурда́ — название прославленных на Кавказе клинков.

Падиша́х — властитель.

Калы́м — выкуп, который жених вносил за невесту ее родным.

Духа́нщица — жена содержателя духа́на.

Пе́ри — по иранскому поверью, прекрасное и доброе существо, во-

площенное в образе женщины чарующей красоты; пери ведет борьбу с духами зла.

Кизля́р — город, расположенный на Тереке, недалеко от впадения его в Каспийское море.

Узде́нь — в прежнее время высшее сословие у некоторых кавказских народов.

Коренная — средняя лошадь при упряжке тройкой.

Уно́сные — здесь: пара лошадей, впряженных впереди коренной. «Переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, Le Mont St.-Christophe)». — Ж.-Ф. Гамба, французский консул в Тифлисе, написал и выпустил в 1826 году в Париже книгу о своем путешествии по Кавказу. В этой книге Гамба назвал Крестовую гору «горой святого Кристофа», не поняв, что название происходит от русского слова «крест». Лермонтов назвал его «ученым» в шутку.

Соловей-разбойник — в русских былинах чудовище, которое оглушало всех свистом.

Чадра́ — покрывало, в которое закутывались женщины с головы до ног, оставляя свободными только глаза.

Термала́ма — плотная шелковая или полушелковая ткань.

Галу́н — серебряная тесьма, которой черкесы обшивали одежду.

Диссерта́ция — в данном случае: пространное рассуждение.

Правый фланг. — Имеется в виду правый фланг «Кавказской линии», проходивший за рекой Кубанью до побережья Черного моря.

Шапсу́ги — одно из черкесских племен.

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

(Стр. 466)

Ока́зия — благоприятный случай для путешествия, поездка с военным отрядом.

Екатериноград — Екатериноградская станица (близ Прохладной, откуда в те времена начиналась Военно-Грузинская дорога, шедшая на Пришиб, Урух, Ардон, Владикавказ и Тифлис).

Венгерка — куртка с нашитыми поперек шнурами, какие носили венгерские гусары.

Фигаро — бойкий, умный слуга из комедии П. Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».

«Бальзакова тридцатилетняя кокетка» — героиня романа О. Бальзака (1799—1850) «Тридцатилетняя женщина».

Физиогно́мия — физиономия, лицо.

Флёр — прозрачная ткань, в переносном смысле покров, скрывающий что-либо, покров таинственности.

«ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА»

Предисловие

(Стр. 475)

Журнал — старинное название дневника.

«Исповедь» Руссо — автобиографическое произведение Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), французского писателя и мыслителя XVIII века.

ТАМАНЬ

(Стр. 477)

Тамань — город на Северном Кавказе, на берегу Керченского пролива.

Перекладная тележка — тележка, в которую запрягали «перекладных» лошадей; на почтовых станциях этих лошадей меняли, или «перекладывали».

Урядник и десятник — чины в казачьих войсках того времени.

«Еду в действующий отряд по казенной надобности» — по делам службы, в служебную командировку.

«Ваше благородие».— Так обращались в разговоре нижестоящие к чинам гражданской и военной службы, не старше титулярного советника и штабс-капитана.

«Там нечисто» — в данном случае: нехорошо, опасно, там живут нечестные люди.

Линейский казак — казак, служивший в войсках на «Кавказской линии».

«В тот день немые возопиют и слепые прозрят» — изречение из Евангелия— священной книги христиан.

Фанагория — крепость близ Тамани.

Ундина (от латинского слова unda — волна) — в средневековых сказаниях дух воды, русалка. В 1837 году вышла в свет поэма В. А. Жуковского «Ундина», которую Лермонтов прочел в то время, когда задумывал «Тамань».

Магнетическая — сильная, приковывающая.

Гётева Миньона — загадочная девушка, героиня романа великого немецкого писателя И.-В. Гёте (1749—1832) «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

КНЯЖНА МЕРИ

(Стр. 487)

Машук — гора, у подножия которой находится Пятигорск.

Пятиглавый Бештау, или Бештау,— одна из вершин Пятигорья.

Название Бештау происходит от слов тюркского корня: «беш» — «пять» и «тау» — «гора».

«Последняя туча рассеянной бури» — начальная строка стихотворения Пушкина «Туча».

Эльбо́рус — Эльбрус.

Водяное общество — общество съехавшихся для лечения на водах.

Степной помещик — из степных губерний.

«Привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум».— Печорин имеет в виду разжалованных и сосланных на Кавказ по делу 14 декабря 1825 года. На Кавказе солдаты на походе носили белые фуражки. На пуговицах мундиров был обозначен номер полка.

«...чающими движения воды» — ироническое выражение, заимствованное из Евангелия; употребляется по отношению к тем, кто ожидает какой-либо поживы, выгоды и т. п.

Академические позы — то есть искусственные, вычурные позы.

«Павильон, называемый Эоловой Арфой» — павильон на скалистой вершине, возвышающийся над Пятигорском; в нем находилась Эолова арфа — ящик с натянутыми струнами, которые мелодично звучали на ветру. Отсюда и произошло название павильона.

Георгиевский солдатский крестик — солдатский орден.

Тирада — пространная реплика в разговоре, сказанная в приподнятом тоне.

«Следствие... романтического фанатизма...» — то есть фанатического увлечения, слепого поклонения романтическому направлению в литературе. Самым модным автором романтических повестей был в 1830-х годах писатель А. Бестужев-Марлинский.

Вист — игра в карты.

Упадший кредит — здесь: пошатнувшаяся репутация.

Эндимион — в греческой мифологии красавец юноша, которому суждены бессмертие и вечная молодость.

Френолог — специалист по френологии. Френология — буржуазное лжеучение о том, будто бы психические свойства человека можно распознавать по форме черепа.

Мефистофель — злой дух в драматической поэме Гёте «Фауст».

Философско-метафизическое направление — то есть бесплодное, отвлеченное умствование.

Римские авгуры — жрецы-гадатели в Древнем Риме, предсказывающие будущее по полету и крику птиц. По словам Цицерона, древнеримского оратора и государственного деятеля, авгуры при совершении гаданий посматривали значительно друг на друга, подсмеиваясь над легковерием людей.

«Смесь черкесского с нижегородским».— Лермонтов перефразирует стих из «Горя от ума» Грибоедова: «Смешение языков: французского с нижегородским».

Фижмы — по моде XVIII века, юбка, укрепленная у бедер на широком каркасе в виде обруча.

«...эпоху мушек из черной тафты».— В XVIII веке в дворянском обществе были в моде «мушки» — маленькие кружки из шелковой ткани (тафты), которые приклеивались на лицо в виде родинок.

Фермуар — ожерелье из драгоценных камней с застежкой.

Дишкант *(устар.)*; дискант — тонкий голос.

Перметé (французское permettez) — позвольте.

Сплин — хандра, уныние, тоска.

Эпитафия — надгробная надпись.

«...поговорку одного из самых ловких повес... воспетого некогда Пушкиным».— Лермонтов приводит поговорку П. П. Каверина, которого Пушкин воспел в «Евгении Онегине»:

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.

В дни юности Пушкина Каверин служил в том самом лейбгвардейском полку, в который потом вступил Лермонтов.

«Библиотека для чтения» — литературный журнал, который подлаживался к официальной политике, рассчитанный на мещанские вкусы, издавался с 1834 по 1865 год в Петербурге О. И. Сенковским (писавшим под псевдонимом «Барон Брамбеус») — одним из врагов Пушкина, Лермонтова и других прогрессивных писателей того времени.

Александр Великий — Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.).

Титулярный советник.— В царской России гражданские чины разделялись на 14 классов. Титулярный советник был чин девятого класса (один из нижних чинов).

«Но смешивать два эти ремесла есть тьма охотников — я не из их числа» — слова Чацкого из «Горя от ума» Грибоедова, не совсем точно переданные Лермонтовым.

Парадоксальный — противоречащий здравому смыслу, общепринятому мнению, странный.

Диалектика — в данном тексте: умение применять логические доводы в споре.

Логика — наука о законах и формах правильного мышления, разумных умозаключений.

Нерон — римский император (37—68 гг. н. э.).

«Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет» — строки из посвящения к «Евгению Онегину» Пушкина.

«Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме».— Торквато Тассо (1544—1595), великий итальянский поэт, рассказывает в своей поэме о приключениях рыцаря Танкреда в заколдованном лесу.

Вампир — мрачный герой одноименной английской повести, полной описания ужасов и таинственных приключений. Повесть эту долго приписывали Байрону.

Слётки — птенцы, уже вылетающие из гнезда; в переносном смысле — выскочки.

Помера́нец — род горького апельсина.

Вальтер Скотт (1771—1832) — известный английский романист.

Бард — здесь: поэт.

Архалук — короткое мужское платье, заменяющее халат.

«Берегитесь!— закричал я ему,— не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!» — Легенда утверждает, что римский полководец Юлий Цезарь был убит заговорщиками в сенате потому, что не обратил внимания на дурную примету: он оступился на пороге.

«...сделало во мне счастливую диверсию» — то есть отвлекло мое внимание.

«...заснул сном Наполеона после Ватерлоо».— 18 июня 1815 года Наполеон Бонапарт потерпел окончательное поражение от соединенных армий союзных держав возле бельгийской деревни Ватерлоо.

Бриг — двухмачтовое парусное судно.

ФАТАЛИСТ

(Стр. 550)

Фаталйст — человек, верящий в судьбу — фатум.

Левый фланг «Кавказской линии» проходил по нижнему и среднему течению Терека.

Бостон — карточная игра.

Предопределение — по представлениям суеверных людей, то, что предопределено, предназначено кому-нибудь судьбой; рок.

Зеленый стол — стол, покрытый зеленым сукном, за которым ведется карточная игра.

«Метал банк».— Это выражение означает, что банкомет сдавал кар-

ты понтерам, играющим против банка. Б а н к — деньги, поставленные в карточной игре на кон.

«В а - б а н к!» — Восклицание, означающее: на весь банк, на всю сумму денег в банке.

П о н т ё р — игрок в азартной карточной игре, играющий против банка.

Т а л ь я — круг карточной игры до окончания колоды у банкомета или до срыва банка.

«К а р т а б ы л а д а н а» — то есть у банкомета вышла карта, соответствующая той, которую поставил понтер.

Ц е п ь — линия стрелков в наступлении.

Ч е р в о н е ц — золотая монета.

Ш т о с с — азартная карточная игра.

А с т р о л о г и я — лжеучение, утверждающее, что по расположению звезд можно предсказывать будущее.

М е т а ф и з и к а — в данном тексте: отвлеченное умствование.

Ч и х и р ь — молодое виноградное вино.

У р я д н и к — унтер-офицер в казачьих войсках.

Е с а у л — офицер казачьих войск; чин, соответствовавший чину капитана.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

1814

В ночь на 3 октября (15 октября нового стиля) в Москве, в доме у Красных ворот, у Юрия Петровича и Марии Михайловны Лермонтовых родился сын — Михаил Юрьевич Лермонтов.

1815

Весна. Е. А. Арсеньева и родители Лермонтова переехали с ним из Москвы в имение Тарханы, Чембарского уезда, Пензенской губернии (ныне село Лермонтово, Белинского района, Пензенской области).

1815—1827

Жизнь в Тарханах.

1817

Умерла мать Лермонтова в возрасте двадцати одного года.

1819

Поездка в Москву.

1825

Поездка на Кавказ.

Конец декабря. До Тархан дошли слухи о восстании на Сенатской площади в Петербурге.

1826

Конец июля. Лермонтов узнаёт о казни руководителей декабрьского восстания, о ссылке ста двадцати человек на каторгу и на поселение в Сибирь.

1827

Лермонтов гостит у отца в имении Кропотово, Ефремовского уезда, Тульской губернии.

Осень. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой переезжает в Москву.

1828

Осень. Поступает в 4-й класс пансиона при Московском университете.

Конец декабря. Держит экзамены. Переведен в 5-й класс.

Начал писать стихи.

1829

Лето. Гостит в подмосковном имении Е. А. Столыпиной Середниково (находится в трех километрах от станции Фирсановка Октябрьской ж. д.).

Декабрь. Переведен в 6-й класс.

1830

16 апреля. По собственному прошению Лермонтов уволен из пансиона до окончания курса наук.

Лето. Лермонтов гостит в Середникове.

1 сентября. Зачислен в списки «своекоштных» студентов Московского университета по нравственно-политическому отделению.

Первая половина сентября. В Москве началась холера. Занятия в университете прекращены.

1830 год — год бурных политических событий в России и в Европе: июльская революция во Франции, революция в Бельгии, с конца лета «холерные бунты», начавшиеся в связи с эпидемией холеры в различных местах России. В ноябре — восстание в Варшаве и начало военных действий, продолжавшихся около года.

В 1830 году Лермонтов написал «Предсказание», «Опять вы, гордые, восстали», «30 июля.— (Париж) 1830», «Новгород» — всего около восьмидесяти стихотворений. Кроме того, написаны три поэмы и две драмы — «Испанцы» и «Люди и страсти».

1831

Начало года. Перешел на словесное отделение университета.

16 марта. Изгнание из аудитории профессора Малова.

Лето. Лермонтов в Середникове.

1 октября. Смерть Юрия Петровича Лермонтова в селе Кропотове (Тульской губернии).

В 1831 году Лермонтов написал семьдесят стихотворений, пять поэм, драму «Странный человек». Два раза переделывал поэму «Демон».

1832

Весна. Лермонтову «посоветовано уйти» из университета.

1 июня. Лермонтов подает заявление об увольнении из университета «по домашним обстоятельствам» с просьбою «снабдить его надлежащим свидетельством для перевода в императорский Петербургский университет».

Начало августа. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой выехал из Москвы в Петербург.

Осень. Лермонтов пробует поступить в Петербургский университет.

10 ноября. Зачислен в Петербурге в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

1833—1834

Лермонтов учится в «Юнкерской школе». Работает над романом «Вадим». В школе написано сочинение «Панорама Москвы» и заново переделана поэма «Демон» (5-й очерк.)

1834

Декабрь. Лермонтов окончил «Юнкерскую школу» и выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.

1835

Весна. Е. А. Арсеньева уехала из Петербурга в Тарханы.

Лермонтов получает из Москвы известие о замужестве В. А. Лопухиной.

Август. Вышла в свет книжка журнала «Библиотека для чтения», в которой напечатана поэма Лермонтова «Хаджи Абрек».

Октябрь. Лермонтов представил в «драматическую цензуру» при Третьем отделении драму «Маскарад» в трех актах. Цензура запретила ставить пьесу. Возвращена Лермонтову для переделок.

Декабрь. Лермонтов едет в отпуск в Тульскую и Пензенскую губернии на шесть недель. Останавливается в Москве.

В 1835 году Лермонтов работал над поэмой «Боярин Орша». Познакомился с А. А. Краевским.

1836

Январь. «Маскарад» запрещен вторично.

Январь — первая половина марта. Лермонтов в Тарханах.

Вторая половина марта. Вернулся в Царское Село, в полк.

Октябрь. «Маскарад» запрещен окончательно.

24 декабря. Отпущен из полка по болезни. Живет в Петербурге на квартире Е. А. Арсеньевой вместе с С. А. Раевским.

В 1836 году Лермонтов работал над романом «Княгиня Лиговская».

1837

27 января. Смертельно ранен на дуэли А. С. Пушкин.

29 января. В 2 часа 45 минут пополудни Пушкин умер.

Первые числа февраля. Лермонтов написал «Смерть Поэта».

Десятые числа февраля. Лермонтов написал «прибавление» к стихам («А вы, надменные потомки...»).

20 февраля. У Лермонтова и Раевского сделан обыск.

21 февраля. Лермонтов и Раевский арестованы.

21 февраля. Раевский дает показания о связи с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина.

21—23 февраля. Лермонтов пишет объяснение по поводу стихотворения на смерть Пушкина.

23 февраля. Началось дело о «непозволительных стихах».

25 февраля. Военный министр Чернышев сообщает шефу жандармов Бенкендорфу повеление царя: корнета Лермонтова за сочинение стихов перевести в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ. Губернского секретаря Раевского за распространение стихов выдержать под арестом в течение месяца и отправить в Олонецкую губернию.

Первые числа марта. Лермонтов под домашним арестом.

19 марта. Лермонтов выехал на Кавказ.

23 марта — 10 апреля. Лермонтов в Москве.

Около 25 апреля. Прибыл больным в Ставрополь.

Май. Лермонтов в пятигорском госпитале.

Лето. Знакомство в Пятигорске с Белинским. Знакомство с доктором Майером.

Сентябрь. Лермонтов выехал в действующий отряд. Пребывание в Тамани.

29 сентября. Получил в Ольгинском укреплении предписание следовать к своему полку в Грузию.

Октябрь — ноябрь. Лермонтов в Тифлисе, в Кубе, Шуше, Шемахе, в Кахетии. Знакомство с декабристом Одоевским.

25 ноября. В Нижегородском полку получен указ о переводе Лермонтова в Россию.

Декабрь. Лермонтов выехал по Военно-Грузинской дороге в Россию. Останавливался в Ставрополе, где познакомился с ссыльными декабристами.

1838

3 января. Приехал в Москву.

Вторая половина января. Приехал в Петербург.

Вторая половина февраля. Отправился в Новгород, к новому месту службы — в Гродненский гусарский полк.

9 апреля. Опубликован указ о переводе Лермонтова обратно — в гвардейский Гусарский полк.

Апрель. Вторая половина. Напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича».

14 мая. Возвращение Лермонтова в Петербург.

Весна. Последняя встреча Лермонтова с Лопухиной перед ее отъездом за границу.

8 сентября. Лермонтов окончил пятую переработку «Демона».

4 декабря. Лермонтов в шестой раз закончил переделывать «Демона».

В 1838 году Лермонтов начал работать над «Героем нашего времени».

1839

Январь. В «Отечественных записках» напечатана «Дума».

Февраль. В «Отечественных записках» напечатано стихотворение «Поэт».

Март. Напечатана «Бэла».

Май. Напечатано стихотворение «Не верь себе».

Ноябрь. Напечатан «Фаталист».

Декабрь. Лермонтов произведен из корнетов в поручики.

Напечатаны стихотворения «Дары Терека» и «Памяти А. И. Одоевского».

31 декабря. Лермонтов присутствует на балу в зале Дворянского собрания.

1840

Январь. Напечатаны стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен» («1-е января»), «И скучно и грустно».

Февраль. Напечатана «Тамань». Напечатана «Казачья колыбельная песня».

16 февраля. Ссора Лермонтова с Барантом на балу у графини Лаваль.

18 февраля. Дуэль Лермонтова с Барантом.

10 марта. Началось дело о «поручике лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль».

11 марта. Лермонтов арестован.

16 марта. Лермонтов допрошен.

20 марта. Лермонтов пишет под арестом стихотворение «Журналист, читатель и писатель».

22 марта. Лермонтов пригласил Баранта к себе на гауптвахту для объяснения.

25 и 29 марта. Лермонтова допрашивают о свидании с Барантом.

5 апреля. Военно-судное дело закончено.

Первая половина апреля. Вышла в свет книга «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. 2 части».

Лермонтова в Ордонанс-гаузе навещает Белинский.

13 апреля. Резолюция царя по делу Лермонтова: «Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином».

Начало мая. Отъезд Лермонтова на Кавказ.

9 мая. Лермонтов в Москве, в гостях у Гоголя, читает «Мцыри».

10 мая. Лермонтов и Гоголь встретились и провели вместе вечер в гостях у друзей Гоголя Свербеевых.

Май. В «Отечественных записках» напечатана статья Белинского о «Герое нашего времени».

Вторая половина мая. Лермонтов выехал из Москвы на Кавказ.

18 июня. Лермонтов выезжает из Ставрополя на левый фланг «Кавказской линии», в экспедицию под начальством генерала Галафеева.

11 июля. Бой при реке Валерик.

29 сентября и 3 октября. Лермонтов в боях обратил на себя внимание начальства своею храбростью и распорядительностью.

10 октября. Лермонтов принял начальство над отрядом из сорока человек, которые вызвались выполнять в боях самые трудные и опасные поручения.

12—15 и 27—30 октября. Лермонтов выполняет боевые поручения.

Начало ноября. В Петербурге вышла книга «Стихотворения М. Лермонтова». В ней напечатаны: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Бородино», «Узник», «Дума», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», «Три пальмы», «Молитва», «Дары Терека», «Памяти А. И. Одоевского», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Казачья колыбельная песня», «Журналист, читатель и писатель», «Воздушный корабль», «И скучно и грустно», «Ребенку», «Отчего?», «Благодарность», «Из Гёте», «Мцыри», «Сосед», «Тучи» и другие.

20 ноября. Экспедиция генерала Галафеева закончилась.

Декабрь. Генерал Галафеев ходатайствует о награждении Лермонтова орденом.

Командующий кавалерией действующего отряда ходатайствует о награждении Лермонтова золотым оружием с надписью «За храбрость».

1841

Январь. Лермонтову разрешен двухмесячный отпуск в Петербург.

Начало февраля. Лермонтов приехал в Петербург.

Февраль. В «Отечественных записках» напечатана статья Белинского о книге «Стихотворения М. Лермонтова».

Февраль — апрель. Лермонтов пишет предисловие к новому изданию «Героя нашего времени».

Встречается с Белинским.

Апрель. В «Отечественных записках» напечатана «Родина» Лермонтова.

12 или 13 апреля. Лермонтову предложено в сорок восемь часов покинуть столицу.

13 апреля. В. Ф. Одоевский подарил Лермонтову свою «старую записную книгу».

14 апреля. Лермонтов покинул Петербург.

Около 23 апреля. Лермонтов выехал из Москвы в Ставрополь.

9 мая. Прибыл в Ставрополь и на следующий день отправлен в отряд, действующий на левом фланге «Кавказской линии», для участия в экспедиции.

По пути Лермонтов решает отправиться в Пятигорск.

23 мая. Получает в Пятигорске разрешение пользоваться по болезни минеральными водами.

8 июня. Приказ военного начальства пятигорскому коменданту отправить Лермонтова «по назначению».

15 июня. Пятигорский военный госпиталь выдает Лермонтову медицинское свидетельство о болезни.

13 июля. Вечер в доме Верзилиных. Столкновение Лермонтова с Мартыновым.

15 июля (27 июля н. ст.). В 5 часов вечера дуэль Лермонтова с Мартыновым. Лермонтов убит.

17 июля. Лермонтов похоронен на пятигорском кладбище.

Август. В Ставрополе получено уведомление из Петербурга, что Лермонтову в награде отказано.

Август. В Ставрополе получено распоряжение Николая I о том, чтобы поручик Лермонтов непременно состоял налицо в полку и чтобы начальство не осмеливалось удалять его от фронтовой службы.

1842

Январь. Резолюция Николая I по делу о дуэли Лермонтова с Мартыновым: «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию». Секундантов титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить — первого во внимание к заслугам отца, а второго «по уважению полученной тяжкой раны».

Февраль. Цензура запретила «Демона» в «Отечественных записках».

23 апреля. Тело Лермонтова доставлено в свинцовом гробу из Пятигорска в Тарханы и погребено в семейном склепе.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Ангел — 99
А. О. Смирновой («Без вас хочу сказать вам много...») — 56
Ашик-Кериб — 428

Б

Благодарность («За все, за все тебя благодарю я...») — 55
Беглец — 123
Бородино — 23

В

Валерик («Я к вам пишу случайно; право...») — 57
Весна — 84
Ветка Палестины — 25
Воздушный корабль — 46
«Выхожу один я на дорогу...» — 78

Г

«Гляжу на будущность с боязнью...» — 31
Герой нашего времени — 435
<Графине Ростопчиной> («Я верю: под одной звездою...») — 67

Д

Дары Терека — 40
Два великана — 101
Демон — 128
Договор — 68
Дума — 32

Е

«Есть речи — значенье...» — 44

Ж

Жалобы турка — 83
Журналист, читатель и писатель — 49

З

Завещание — 63

И

Из альбома С. Н. Карамзиной («Любим и я в былые годы...») — 67
Из Гёте — 46
Измаил-Бей — 178
И скучно и грустно — 45

К

К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») — 84
К*** («О, полно извинять разврат...») — 89
К* («Я не унижусь пред тобой...») — 99
Кавказу («Кавказ! далекая страна!..») — 84
Казачья колыбельная песня — 35

«Как небеса, твой взор блистает...» — 31
«Как часто, пестрою толпою окружен...» — 44
Кинжал — 30
К Н. И..... («Я не достоин, может быть...») — 98
<К Н. И. Бухарову> («Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...») — 105
Княгиня Лиговская — 375
«Когда волнуется желтеющая нива...» — 28
К портрету («Как мальчик кудрявый, резва...») — 56

Л

Листок — 77
Любовь мертвеца — 66

М

Молитва («В минуту жизни трудную...») — 39
Молитва («Я, матерь божия, ныне с молитвою...») — 28
Монолог — 83
Маскарад — 241
Морская царевна — 79
Мцыри — 159

Н

На картину Рембрандта — 88
«На севере диком стоит одиноко...» — 67
Не верь себе — 36
«Нет, не тебя так пылко я люблю...» — 78
«Нет, я не Байрон, я другой...» — 101
Новгород — 86

О

«Она поет — и звуки тают...» — 31
«Они любили друг друга так долго и нежно...» — 73
Оправдание — 64
Отчего — 55

П

Памяти А. И. Одоевского («Я знал его: мы странствовали с ним...») — 42
Парус — 102
Панорама Москвы — 371

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова — 109
Пир Асмодея — 86
Пленный рыцарь — 54
Поэт («Отделкой золотой блистает мой кинжал...») — 34
Поэт («Когда Рафаэль вдохновенный...») — 82
Пророк — 80
«Прощай, немытая Россия...» — 69

Р

«Расстались мы, но твой портрет...» — 29
Ребенку («О грозах юности томим воспоминаньем...») — 55
Родина — 65
Романс к И... («Когда я унесу в чужбину...») — 98
Русалка — 102

С

Свиданье — 74
«Слышу ли голос твой...» — 32
Смерть Поэта — 21
Сон («В полдневный жар в долине Дагестана...») — 72
Соседка («Не дождаться мне, видно, свободы...») — 48
Сосед — 27
«Спеша на север из далека...» — 29
Спор — 69

Т

Тамара — 73
30 июля.— (Париж) 1830 года — 85
Три пальмы — 38
Тучи — 57
1831-го января — 89
1831-го июня 11 дня — 90

У

Узник — 26
Умирающий гладиатор — 104
Утес — 69

Э

<Эпиграмма на Н. Кукольника> («В Большом театре я сидел...») — 105
<Эпиграмма на Ф. Булгарина> («Россию продает Фадей...») — 105
<Э. К. Мусиной-Пушкиной> («Графиня Эмилия...») — 106

Я

«Я жить хочу! хочу печали...» — 101

СОДЕРЖАНИЕ

И. Андроников. Образ поэта 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

1837

Смерть Поэта 21
Бородино 23
Ветка Палестины 25
Узник 26
Сосед 27
«Когда волнуется желтеющая нива...» 28
Молитва («Я, матерь божия, ныне с молитвою...») . . . . . —
«Расстались мы, но твой портрет...» 29
«Спеша на север из далека...» . . . . . —

1838

Кинжал 30
«Гляжу на будущность с боязнью...» 31
«Она поет — и звуки тают...» . . . . . —

«Как небеса, твой взор блистает...» 31
«Слышу ли голос твой...» 32
Дума . . . . . —
Поэт 34
Казачья колыбельная песня 35

1839

Не верь себе 36
Три пальмы 38
Молитва («В минуту жизни трудную...») 39
Дары Терека 40
Памяти А. И. Одоевского 42
«Есть речи — значенье...» 44

1840

«Как часто, пестрою толпою окружен...» 44
И скучно и грустно 45
Из Гёте 46
Воздушный корабль . . . . . —
Соседка 48
Журналист, читатель и писатель 49
Пленный рыцарь 54
Отчего 55
Благодарность . . . . . —
Ребенку . . . . . —
А. О. Смирновой 56
К портрету . . . . . —
Тучи 57
<Валерик> («Я к вам пишу случайно; право...») . . . . . —
Завещание 63

1841

Оправдание 64
Родина 65
Любовь мертвеца 66

«На севере диком стоит одиноко...» 67
<Из альбома С. Н. Карамзиной> . . . . . —
<Графине Ростопчиной> . . . . . —
Договор 68
«Прощай, немытая Россия...» 69
Утес . . . . . —
Спор . . . . . —
Сон 72
«Они любили друг друга так долго и нежно...» 73
Тамара . . . . . —
Свиданье 74
Листок 77
«Нет, не тебя так пылко я люблю...» 78
«Выхожу один я на дорогу...» . . . . . —
Морская царевна 79
Пророк 80

1828—1836

1828

Поэт («Когда Рафáэль вдохновенный...») 82

1829

Жалобы турка 83
Монолог . . . . . —

1830

Весна 84
Кавказу . . . . . —
К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») . . . . —
30 июля.— (Париж) 1830 года 85
Новгород 86
Пир Асмодея . . . . . —
На картину Рембрандта 88
К*** («О, полно извинять разврат!..») 89

1831

1831-го января 89
1831-го июня 11 дня 90
Романс к И... («Когда я унесу в чужбину...») 98
К Н. И..... («Я не достоин, может быть...») . . . . . —
Ангел 99

1832

К* («Я не унижусь пред тобою...») 99
«Нет, я не Байрон, я другой...» 101
«Я жить хочу! хочу печали...» . . . . . —
Два великана . . . . . —
Парус 102
Русалка . . . . . —

1836

Умирающий гладиатор 104
<Эпиграмма на Н. Кукольника> 105
<Эпиграмма на Ф. Булгарина> . . . . . —
<К портрету старого гусара> . . . . . —
<К Н. И. Бухарову> . . . . . —
<Э. К. Мусиной-Пушкиной> 106

ПОЭМЫ

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. *Гравюры В. Фаворского* . . . 109
Беглец. *Гравюры Ф. Константинова* 123
Демон. *Гравюры А. Гончарова* 128
Мцыри. *Гравюры Ф. Константинова* 159
Измаил-Бей. *Гравюры И. Калиты* 178

ДРАМА

Маскарад. *Гравюры И. Калиты* 241

ПРОЗА

Панорама Москвы. *Гравюра В. Лопяло* 371
Княгиня Лиговская. *Гравюры И. Калиты* 375
Ашик-Кериб. *Гравюры Н. Побединской* 428
Герой нашего времени. *Гравюры В. Лопяло по рисункам Д. Шмаринова* 435

Комментарии 559

Основные даты жизни и творчества М. Ю. Лермонтова . . . 605

Алфавитный указатель 613

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 4)

Михаил Юрьевич Лермонтов

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

*

Ответственный редактор
Э. М. Лемперт

Художественный редактор
Т. М. Токарева

Технические редакторы
Н. Г. Мохова
и Н. Д. Лаукус

Корректоры
Н. Е. Кошелева
и Л. А. Рогова

ИБ № 2778

*

Сдано в набор 4/II 1977 г. Подписано к печати 19/VIII 1977 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 40,13. Уч.изд. л. 32,46+ +9 вкл.=32,99. Тираж 404 000 (1—200 000) экз. Заказ № 5083. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Лермонтов М. Ю.

Л49 Избранные сочинения. Состав., предисл. и примеч. И. Андроникова. Оформл. Б. Дехтерева, грав. разн. художн. М., «Дет. лит.», 1977.

622 с. с ил. + 9 вкл. (Библиотека мировой литературы для детей, том 4).

Книга состоит из разделов: стихотворения, поэмы, драма и проза. С предисловием, примечаниями, алфавитным указателем и основными датами жизни и творчества М. Ю. Лермонтова.

Л $\frac{70803—468}{М101(03)77}$ Подп. изд. Р1

1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»